

Елена КРЮКОВА

Родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького.

Автор книг стихов и прозы, куратор и автор художественных проектов в России и за рубежом. Лауреат премии им. М. И. Цветаевой, Кубка мира по русской поэзии, премий журнала «Нева» за лучший роман года («Врата смерти», 2012), им. Горького (2014), им. И. Гончарова (2015), Международной литературной премии им. А. Куприна (2016), Международной премии им. Э. Хемингуэя (2017) и других.

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

ДОЛИНА ЦАРЕЙ

Фрагменты романа

*Что ты наречемъ, Василіе преблаженне?
Наготою тѣла послѣдовалъ еси Христу,
мудрѣйшимъ юродствомъ прехитрилъ еси діавола,
сего связая пленицами слезъ твоихъ
и богатство нося въ души некрадомо,
вся Христова ученія дѣломъ исполнилъ еси.
И нынѣ на небесѣхъ ликуя,
непрестанно моли Христа Бога
спасти души наша.*

Мѣсяца Августа во 2-й день. Служба святаго блаженнаго Василія, Христа ради юродиваго, Московскаго чудотворца.

На стиховнѣ стихиры, гласъ осьмый, подобенъ.

ФРЕСКА ПЕРВАЯ. МЕДВЕЖИЙ СОН

Муки и слёзы – ведь это тоже жизнь.

Ф. М. Достоевский,
«Преступление и наказание»

Малое клеймо житийной иконы, закопчѣнной временем

Он родился, обычный ребёнок, от обычной бабы, и никто не знал никогда его отца.

Он прекрасно помнил мать, он и отца помнил. Но никому никогда об отце не говорил.

И то правда, никогда не говори никому о тех, от кого ты на свет появился.

Его мать была сельской лекаркой, тихой знахаркой; в горах затеряны деревянные матрёшки – избы родного сельца, крыши крыты соломой, у изб мохнатые башки, иной раз мимо окон протрусит волк, шерсть у него жёлто-серая, а крохотные зенки под скошенным лбом серо-жёлтые, золотые: волк поглядит – и ты нечеловеком вмиг станешь.

Зимой наметало сугробы до неба. Мать ведала много, да больше молчала. Он ещё до рождения помнил её молчаливой, собирающей целебные дикие травы в луговинах, заросших лиловым багульником, и на склонах крутояров. Тайга раскидывалась рыжей шкурой, медвежьей. Да, волки там таились, лисы шныряли, иногда мальчонка Василий, шально, один, отколовшись от матери, любопытствуя, забредая в тайгу, зрел барсука. Барсук жил в громадной норе под старухой-сосной, крутосклон осыпался опасным обвалом, дерево изо всех силёнок цеплялось нагими корнями за красную влажную землю. Глина, пропитанная кровью. Земля всегда исторгала из его глаз слёзы, что во младенчестве, что в зрелых волчиных годах, и он шептал себе: глупо плакать над землёй, ведь она обнимет тебя однажды. Брусника, капли её кровушки среди сплетенья листьев и стеблей. Тёмно-синяя грозная жимолость, куст клонится под её сладкой, чугунно-грозовой, княжьей тяжестью. Облепиха, пылко, жадно обнимающая раскидистые ветки, она ловко прячется среди узкой серебристой листвы, чтобы её не сорвали, не сожрали звери и люди. Медведь любит ягоды, он тоже человек. Мать называла медведя ласково: медведко, волка так: волченька, и все звери таёжные у неё звучали колокольчиковой, гвоздичной музыкой: волченька, лисонька, барсучишко. А к тайге мать обращалась так: вставала на колени, протягивала сильные красивые руки к чащобе и говорила-пела, закрыв лунными веками очеса: лесушко бажонный, дай мне зверя поразить на пропитание родному сыночку моему! Таёженька бажоная, дай ягодки в туес, дай водицы из реченьки! Дай черемши пучок, дай медка дикого, диковинного из дупла, а вы, пчёлоньки, не кусайтесь! И пчелы разлетались перед матерью верером, и зачерпывала она песочно-медный, густейший мёд из дубового дупла, он небесным златом лился на землю, струился золотной тонкой нитью; и низко наклонялась она, сбирая остро-пахучую черемшу цвета болотины, и долго стояла в чаще с прижатой к плечу винтовкой образца первой мировой войны, старательно и страдально сторожила зверя; и вот зверь выходил, показывал страшную морду свою, нельзя было глядеть в глаза зверю, его сородичем тогда беспреренно станешь, но мать глядела.

И Василий учился глядеть тоже.

Он глядел и уже рождённый, у него, живого, ведь торчали глаза подо лбом, глядел и нерождённый, и это было страшнее всего. Тела не было. Рук-ног не было. Разума под твёрдым костяным черепом не было, а он уже жил, глядел, любил.

Он рассматривал будущую мать сверху, слева и справа, снизу и сбоку, он видел её сразу, всюду, и сразу наблюдал все её времена, в коих она жила. Так он до жизни учился познавать жизнь. Он понял: жизни нельзя приказать явиться, и жизнь нельзя оборвать.

Однажды его мать нашла близ угольно-жуткой, дышащей мощью Ада барсучьей норы дощечку. С доски на мать, на тайгу глядел нежный лик. Мать запрятала доску за пазуху и медленно шла сквозь лес,

сама себе казалась горячей шёлковой нитью цвета слепящего жарка, тянулась бесконечно, скитально через распадки, овраги и увалы. Придя домой, мать огляделась. Как тепло, чисто в доме! Две толстенные, с коровью крепкую ногу, свечи стерегли раскрытую на любимой странице Книгу Жизни. В Книге написано всё, что люди знали, и всё, чего не знали, а Бог знал. Богов в тайге летало множество, а в Книге царил Бог один, да тысяча лиц сияло у Него, отовсюду Он глядел: отверни камень – Он там, погрузи сеть в ледяную реку – Он забьётся в сети. На ржавой плахе подпечка стоял медный чайник, мать нашла его на речной отмели, рыбаки тут жгли костёр, воду кипятили, чай хлебали и чайник позабыли. Где тех рыбаков теперь сыскать? Мать, когда в чайнике булькал и парил кипятком, молилась за рыбаков. Она молилась странными, забытыми, корявыми словами.

Праздники на селе играли замысловато, радужно. Обряжали друг друга в венцы из трав и колосьев, в понёвы длиннее годового круга, обворачивали плечи волчьими жёсткими, железными шкурами. Сельчане прикидывались больными, напяливали белые рубахи; белизна родильных пелён, белизна свадебной ткани, белизна смертного савана. А кто одевался Звёздным Жителем, брал в руки красные цветы – маки, жарки, полевые гвоздики, – осыпал нарочно-болящего теми цветами, обливал живую водой из стеклянной четверти. Вопил оглушительно: «Вста-а-а-ань!» И якобы мёртвый вставал, широко распахивал глаза, улыбался робко, обнажая зубы, а как беззубый. Вокруг на земле сидели девки и громко, взхлёб пели: ай, жизнь! ай, любовь! породися вновь да вновь! Ай, судьба! Ай, краса! Небеса, небеса!

Старики курили. Звёздные Жители смеялись звонко, будто зимние алмазы размашисто рассыпали. Костры горели сильно, мощно, наваливалась медвежьей тушей ночь, забивала чёрной шерстью глотки, глаза, занавешивала лица. Про Бога, учившего про любовь, знали-помнили все, да старики сквозь дым, прикрывая морщинистые воспалённые веки, хрипели: помни про Великое Небо. И про Великую Землю.

Мать Василия помнила своё имя, да часто забывала. Она рано начала терять словесную память, зато память извилисто льющей внутри, по её потрохам, крови все разгоралась, причиняя ей боль, особенно ночами. Иногда кровь начинала в ней бормотать, пророчить. Мать Василия научилась читать письма крови без слов. Кровь подавала ей знаки. Однажды женщина раскрыла рот и назвала себя по имени, а ей почудилось, не голос, а рык зверя окликнул её. Марина, выдавила она из натужной глотки, Марина, она пыталась вспомнить, какая же далёкая, заоблачная святая, из тех, что рисовали на еловых досках и выцарапывали на берёсте, это имя носила. И эхом ей повторило дальнейшее лесное рычанье: Ма... ри... на... – и она закрыла уши руками и сидела так долго, не отнимая рук.

Женщина предназначена родить. Она не хотела идти в лес. Грани стакана горели, просили ягод. Жимолость, брусника! Туес валился с лавки. Корзины зазывно выставляли плетёные бока. Солнце высоко горело, оранжевым глазом сбитого масла, в сметанно-белом небе, и тайга под лучами стелилась колючей, жёсткой рыжей шкурой. Марина подхватила туес, туго подпоясалась, дунула на бесконечно горящие у толстой старой Книги витые свечи, наложила на себя крест, улыбнулась и шагнула через порог. «Не ходи, не ходи!» – кто-то тихо шептал в ней, словно бы говорящий робкий барсучонок, полосатый старомудрый бурндук. Она вошла в тайгу и шла по тропинке, её протоптали сельчане.

Ей было страшно и прекрасно. Никогда ещё ей так страшно не было в тайге.

Она ступила ногою в лапотке на поляну, румяную от избыточной брусники. Сначала нагнулась и собирала нагнувшись, потом присела на корточки. Сзади послышался громкий хруст. Сломалась ветка крупная, сухая. Марина обернулась. Из-за лиственницы вышел мохнатый чёрный, огромный человек. Марина два, три долгих мига спустя догадалась: медведь.

Она хотела бежать, да ноги налились железом. Приварились к тёплому, травному колену земли. Не надо! – хотела крикнуть, да ветер закрыл ей уста тёплой липкой, брусничной ладонью. Значит, смерть моя явилась, молча сказала она себе, понимая, что вот они, её последние слова на Великой Земле. Медведь вперевалку, в рост, тяжело ступая на примятую траву могучими, как гроззовые облака, задними лапами, шёл к ней, неуклонно, неостановимо. Подойдя близко, он выше вздел передние лапы, и Марина увидала слишком близко от себя блестящие на Солнце, длинные, как жизнь, угольно-чёрные когти. Сейчас лапой играючи махнёт и кожу мне с башки разом сдерёт, думала она, а мысли дымно рвались, слова кровили и разлетались красными брызгами, раздавленная брусника стекала по щекам, по белым плечам, они заголялись, торчали из измятой ткани, колени подкашивались, гроза надвигалась, её уже ничто в мире не могло остановить. Она не запомнила, падала она на живот, на бок или на спину перед зверем, а он на глазах превращался в дикого человека, мохнатого, бродячего, неприкаянного, злого, нежного, убивающего, умирающего, воскресающего. Когда Марина упала, он одной лапой легко, будто она была пушинка, перевернул её с живота набок, с бока на спину, и, вставши на все четыре лапы, наклонился над ней, уставился на неё, глядел долго, маленькими, широко расставленными, красными ягодами-глазами, и, когда кудлатый лик придвигался ближе, всё ближе, её закинутое лицо опахло из пасти невыносимым жаром, словно бы чрево земли разъялось, и оттуда вырвался сноп горячего, довременного воздуха, твёрже охотничьей ладони, страшнее пули, впившейся в живую, взорванную болью мясную мякоть.

Время сжалось в кулак, в смешной, полный воздуха и пустоты гриб дождевик. Время лопнуло, на его месте оказалось ничто, сладкое, как древняя синяя жимолость. Лапы чёрного огромного медведя укрыли её звёздной траурной парчой, струящимся крепом, таким в избах бабы при покойнике, во гробе лежащем, закрывают тусклые, с шелушащейся амальгамой, родовые зеркала.

Тайга смешала заполошным варевом день и ночь. Прямо в центре необъятной ночи Марина разлепила глаза и губы. Перед ней лежал медведь. Спина его возвышалась тяжёлым угольным холмом. Лапы он сложил кольцом, сквозь них можно было пролезть и уползти в мохнатую горячую, душную нору, под его земляной, зимний живот. Лето ли, осень, зима? Всё бурлило, клокотало. Времена радугой вставлялись изгибались пред румяным потным лицом Марины и падали в дышащий пьяной черемшой овраг, за её спину. Тело её свело длинной судорогой; она боялась превратиться в железную стрекозу со слюдяными крыльями и взмыть в холод и звёзды, и навек улететь отсюда.

Марина неслышно положила тяжёлую руку на тёплый бок зверя, осторожно вплела пальцы в ночную шерсть. Медведь не охнул, не застонал, не вздрогнул. Он слишком крепко спал. Труд жизни придавил его многоочитым небесным грузом.

Остановить пожар

Я, Василий, безумным ныне все кличут меня, таковой я, видать, и есть, хорошо помню, как я зародился. Помню человека, с него медленно сползала наземь, по груди и животу, страшная маска медведя; разымалась надвое и падала к ногам, вся в роскошных грязных ломах, медвежья шкура. Живое навеки теряет суждённую одежду. Живое прощается с привычным обличем. Живое перетекает в новое живое, но никогда – в железо, камень, винт, шестерёнку. Остановитесь! Задумайтесь! Ведь и камень – живой: вот уголь, он сложен из скорбных останков давно погибших растений, змей, ящериц и птиц. Ведь и железо живое, ибо оно плавилось в первозданном огне, а огонь дышит и движется, разве он мёртвый?

Вздрагивать! Дышать! Растопыривать жабры! Жадно пожирать добычу! А мыслить? Разве камень мыслит? А зачинать? Разве железо продолжит род?!

Смерть и сон отразились в зеркале лица моей матери. Скуластый лик её шел волнами; чуть раскосыми, с дикой сибиринкой, глазами она поводила туда-сюда. Искала. Рыскала зрачками по земле и небу.

Она искала – меня.

А я вот он, я уже был в ней, я вспомнил, как медведь навалился на тело Марины, будто она была вязанка хвороста, копна сухих веток для розжигу таёжного костра, раскинул широкие лапы, обратился в срубленную дровосеком чёрную ель, еловые пахучие, колючие ветви спасительно закрыли Марину, биение её раздавленного медведем сильного тела, кричащий рот, молнией сверкнувшие в ночи зубы. Я видел, как медведь поднялся с земли и встал на дыбы; и как шкура тучей летела вниз, в запределье; и катилась смоляная маска прочь с лица, и наружу, на холмы и в лощины, выходил лесной человек, великий жизнью и духом, владыка предсмертия и посмертья, и посреди тех небывалых, неизвестных времён стоял он, глядел на мою мать, а она, распятая, белая как ранняя зима, покорно лежала под его мощными мохнатыми ногами.

Владыка наклонился, ухватил мою мать под мышки и медленно, нежно поднял с земли. Золотой лик моей матери уткнулся владыке в голую грудь. Руки вождя зверей сомкнулись у Марины на голой спине. Разделённая надвое голая жизнь обнялась, воссоединилась. Теперь их было не разрубить, не раззять.

И горячая звёздная материя перетекала меж ними, я вливался во чрево матери моей, дрожал там, во тьме, и раскидывал незримые руки и ноги, пытаюсь паутинно, невесомо обнять беззащитное моё бытие. Все стрелы будущих страданий жгуче воткнулись в меня. Я стал сам себе боль. Сам себе огонь. Сам себе Крест. Крест вспыхнул Солнцем, и я обжёгся и закричал. Я зверем вопил там, внутри матери, телеса мои росли, вспухали, прибавлялись горячим тестом, то горечь, то сладость бешено заливала крохотные мои, мельче комара, немые губёшки, я, сидя внутри материнской плоти, слышал, как, легко звеня, по кругу ходят бешено пылающие небесные светила, слышал, как бурундук, ловко вертя в когтях кедровую шишку, лушит её и шелушит, и острые алмазные его зубы разгрызают орешки, семена любви. Я разрастался внутри утробы, пел там, плакал, визжал. Меня не слышали, зато я слышал всё.

И видел всё.

Человеку совсем не надобно зренье, чтобы видеть. Он видит иною сущностью. Я, Василий-царь, знаю это. Всей кожей узнал. Всей кровью.

Когда в кровь моей матери вливалась белая, зимняя медвежья влага, и реки двух священных жидкостей соединялись и мгновенно, колдовски лепили меня, вылепляли мне лик, рамена, чресла, чело, очи, да всё, из чего сложен хрупкий земной поселенец... жаль земного поселенца!.. жаль навеки, до конца, до звёздного туманного венца!.. – я видел всё, и даже то, что мне, на земле людей, не дано было въявь увидеть никогда.

Я видел иные реки. Чужие моря. Пугающие высотой горы. Громадные, раскинувшиеся от хребта до хребта, расшитые серебром бурь густо-лиловые, грозные посадские платы океанов. Я видел странных людей, изысканно-томных, устрашающе-великанских; бисерных, малюсеньких, крохотнее кошки. Я слышал звучанье многих языков, томительно рыдали их песни, звенели на площадях их воззвания и приговоры, а мне было всё до выдоха понятно, что кричит и шепчет другой народ: кто открывал мне иные смыслы, я не знал, да и знать не хотел. Владыка-Медведь и мать Марина зачали меня, я видел, как это творилось, и я запомнил это навсегда.

Никогда? Навсегда?

Что такое теперь, тогда, всегда, никогда?

Я, кувыркаясь в брюхе матери моей, медведицей так и не ставшей, а оставшейся человецицей, знал: Время – не для часов, не для ходиков, медных стрелок и лунного безглазого маятника, а для самого себя.

Время рождает само себя на свет и уходит само в себя.

Поэтому мы не можем поймать его в капкан, как зверя в тайге.

Не можем пригвоздить ко Кресту, колесовать, ножом изрезать, сжечь на костре.

Мы ничего не можем с ним сделать.

Зато оно с нами может сделать – всё.

* * *

...и, когда они, освобожденный от Царских шкур зверь и молчаливая лесная женщина, обнимались среди тайги, и потом опять легли на хвойное ложе и обнялись ещё крепче, ещё бесповоротней и обречённой, я увидел в небесах, над тайгой, как с пропасти зенита сорвался сноп света и резко, быстро устремился к земле.

Метеор? Болид? Свет летел к земле в сияющей тысячью звёзд осенней ночи, и я рассмотрел: это человек. Маленькие ручки, маленькие ножки, совсем как у меня, зачатого миг назад. Голый. Как и я. Летит вниз. Как и я. Я тоже лечу в животе матери, и полёт мой неостановим. Тяжесть планеты. Груз притяжения. Не отсечь. Не избавиться. Не отбиться.

Станный гул возник вдали. Поляна, еловый лапник, зверь-человек на земле, о двух спинах, озарились странным, дальним красным светом, бредовым, пытальным, Адским. Я расслышал: гул надвигался. Приближался. А этот, человечек-кроха, совсем не герой, жалкий, нежный, дрожащая былинка, белая полынная ветка, всё падал с разъятых болью небес.

Он летел! Он летит! Он и сейчас летит! А я где?! А я лечу вместе с ним! Я различал его всё явственнее. Он становился цвета огня. Лес обращался в гигантский костёр и освещал летящую фигуру снизу, подсвечивал грядущим огненным страданьем. Я догадался! Ангел падал с неба, чтобы разбиться на тысячу кусков, а сатана возжёт таёжный пожар. Звери! Птицы! Букашки малые! Сейчас вы все погибнете!

Я, в утробе матери моей, сам был меньше жука, меньше паука. Я полз по стеблю кровеносной жилы, перебирал лапками, узорчатая красная ящерка. Милый Ангел! Не падай в огонь! Не превращайся в пепел! Ведь я же не знаю, погибнешь ты навек или воскреснешь на третий день!

Откуда я узнал про третий день? Нет в мире счисления дней и ночей, нет отсчета часов. Время не требует от людей измерения. Ему самого себя достаточно. Пламя! Оно приближается! Оно идёт на нас дымящейся тучей! Красной стеной! Оно живёт, оно поёт! Гудит и бешенствует! Нам не заткнуть ему горячий рот. Огонь, он тоже зверь! Никакая женщина ещё не зачала от огня, не родила. Владыка-Медведь и Марина расцепили объятия, отпрянули друг от друга. Застыли. Глядели. Пламя подкатилось уже близко. Пожирало лиственницы, пихты, ели, всё молчаливое воинство деревьев, и деревья кричали от боли всем треском коры, всеми изгибами корней и сучьев. А впереди огня бежали звери, ползли гады, летели птицы, трещали крыльями стрекозы, сторающие на лету совы и клесты валились в жадные языки огня, в голодную его красную пасть, летящие бабочки и сойки обращались в комя пепла, в горелые личинки смерти.

Зачем живому всеобщая смерть? Зачем горят леса? На пол-Мира горят? Кто огонь остановит?

Я перевел незримые глаза в небо.

Ангел летел. Ангел всё ещё падал.

А разве в небесах есть верх и низ? Может, для нас Ангел падает, а для Бога – летит вверх, взмывает, торжествует? Лети, пока дано лететь! Небо – колыбель Бога! Может, так Он тебя, Отец, в колыбельке качает!

Что я тогда, в утробе, знал про Бога? Про Него и живые-живущие не знают; вышепнешь: Бог, – а они захохочут над тобой, изглумятся, пальцами зачнут в тебя тыкать, языки высовывать. Я привык. Мне что. Человек жалок, и я жалок. Я не герой. Я не предводитель. И уж точно не владыка. Усядусь зимою в сугроб, босой и нагой – и стану меньше сугроба. Там, в животе у Марины, я уже знал, что будет со мной! И не роптал. Только огонь! Огонь! Не надо, чтобы погибали барсуки, соболя и сойки! Чтобы корчились в лютом пламени змеи! Озёра чтобы вскипали, и драгоценные рыбы всплывали кверху брюхом! Пощади, летящий Ангел, живое! Сохрани! Защити!

Огонь, я и тебя понимаю, я вижу, слышу, ты гудишь, ты вопишь, у тебя есть душа! Но ведь у всего живого, у каждой былинки и птиченьки малой, есть душа! Всё одушевлено! Слышишь! Всё! И камень – дышит! И кора кедра – дышит! И белка – плачет, видя мёртвого детеныша! И лебедь падает грудью на острые камни, чтобы лечь рядом с подстреленной подругой!

Моя мать шагнула вперёд. Протянула руки. Вся огнём охвачена, озарена. Человек-медведь, расширив глаза, наблюдал, и в радужках его плясали оранжевые полоумные сполохи, сшибались ослепительные копыя и стрелы. Марина вдохнула гаревой воздух, тяжёлый удушливый дым; дым остро и жутко пах жареной плотью, полыньёю, диким луком, сосновой смолой. Смола лилась со стволов густыми слезами, последнее муро пожара. Марина сделала ещё шаг. Подняла руки, ладонями вперёд. Позже я созерцал фрески в древних соборах: так стояла на могучих росписях Богородица Оранта.

– Огонь! – взвопила Марина сумасшедше. – Огонь, Царь! Ты же Царь! Ты есть первый и последний владыка земли! Ты пожрёшь всё в свой черед! И ты пощадишь нас, если захочешь! Прошу тебя...

Она мотнула головой, будто бы отказываясь от изречённых в ужасе слов.

– Приказую тебе!

Человек-медведь, убоявшись неисходного вопля женщины, отступил на шаг.

Гул огня заполонил всё. Вонзился в уши. Влился под череп. Ангел падал. Ангел сверху видел горящую землю. Польшающий Царским золотом лес. Я, в утробе, отчаянно бил по волнам крови руками и ногами, изгибался червячным тельцем, пытаюсь выплыть вон из горя, не податься казни. Я летел навстречу сумасшедшему Ангелу.

И мать моя кричала сумасшедше, захлёбно, неостановимо, и человек-медведь, лишённый когтистых лап, не к её рту прижимал потную, ужаснувшуюся близкой смерти руку, а ко рту своему, искривлённому рыданьем, к трясущемуся подбородку; сейчас всё погибнет в огне, если эта жалкая баба, эта раскосая охотница, страстная ягодница и угрюмая лекарша из ближнего сельца пламя не остановит!

Но ведь потребно немислимой силы колдовство! Могучее заклятие! Или...

Марина выше, над головой, воздела руки. Под её ладонями уже ходили красные отсветы. На голом лице, на голой груди, на животе сшибались алые копыя последней битвы.

– Бог Господь сильный, мощный! Небу и огню равномоцный! Небесный огонь, земной огонь! Это все Ты! Ты! Слышишь! Остановись! Господине наш бажонный! Утиши гнев Твой! Молюся Тебе! Слова молитовок всех позабыла! Не нужны они теперь! Замри! Не иди дальше! Не пожирай нашу жизнь, Господи! Стой!

И, когда мать моя возопила: стой! – я ворохнулся в ней бешеной, пойманной на снасть огня древней рыбой, я мог дышать и в воде, и над водой, я мог мыслить и в животе, и лететь поверх пламенных телес, и видел я, как странно, страшно замер огонь, не идя, не двигаясь по тайге дальше, и слышал я, как ветки, стгорая, трещали, и зрел, как отламывались они от стволов и падали на землю красно-золотыми факелами, как с горящих древесных вершин огонь медленно сползал вниз, к земле, к сожжённой траве и сухим листьям, обращённым в погибельный пепел; утихал, умиротворялся, умирал. На глазах человека-медведя и меня, нерождённого, падающего в утробе вверх, всё вверх и вверх, огонь умер. Исчез. Перед нами – голой бабой, голым владыкой и голым зародышем в бабьем брюхе – вставал сожжённый страшный лес, расстиались поляны Ада, сплошь усыпанные погребальным пеплом, поминальным чёрнёным серебром обгорелых веток и траурными скелетами спалённого зверья.

И видел я, как владыка-Медведь шагнул к матери моей и обнял её так крепко, как только мог.

И слышал я, как шептал человек-зверь ей на ухо, прижимаясь щекою к щеке:

– Благодарю тебя, дочь людей, минутная жена моя. Царь тайги благодарит тебя.

...и в это же время Ангел, что падал с небес, упал на землю, да не на камни упал, не в таёжный бурелом, не разбился на тысячу кусков жаркой плоти, а упал в воду. В озеро. Шёлково расстилалась озера ясная гладь. Голый Ангел падал, вращаясь небесной юлой, ноги его задрались выше головы, он перекрутился в воздухе раз, другой, голова его коснулась переливчатого атласа воды, и живым ножом он вонзился в

тяжёлую, синюю маслянистую глубину, вдруг вспыхнувшую серебряной бредовой парчой, вода разъялась под его телом, будто в неё зашвырнули увесистый камень, Ангел нырял всё глубже, камнем уходил во тьму, и пошли круги по воде, они расходились, бежали, таяли, достигали берегов, шли дальше, по земле, по горам и лесам, по камням и дорогам, а Ангела уже никто не видел, кроме меня, спрятанного в мешке кровавой утробы, и созерцал я, с дрожью и ещё неведомой мне, плоду, молитвой, как нагая Ангела нога мелькнула на синеве воды, озарённой отсветами пожара и обрызганной кропилом дивных полнощных звезд, сверкнула больно и ярко будущей свечою пред ликом дрожащей озёрной иконы, загорелась пылающей живой веткой, осветила осенние берега, клубящиеся охрой, златом и красными дымами лиственниц, сосен и кедров, нырнула в прозрачную толщу любви и смерти и исчезла навсегда.

Явление Василия матери Марине

Бабе родить – нельзя погодить. Я всё помнил, и я боялся. Это Марина ничего не знала про роды, а я всё знал. В маленьком нашем сельце, затерянном в горах и кедровых распадках, все давно любовались необъятным Марининым животом. Живот-гора. Живот-увал. Живот-сугроб, да уж не замёрз ли я там? Прихлынули воды. Мать моя, торопясь, дрожа скрюченными от страха пальцами, обрядилась в грубую седую мешковину. Скатила и сунула под мышку ещё одну холстину. Занесла ногу через порог. Если бы я мог, я бы крикнул ей из чрева: куда ты, матушка?! Да не мог я.

Скованы молчаньем крови уста. Палец я мог сосать, улыбаться, когда Марина смеялась, мог, а вот речью владеет лишь рождённый. Лето холодное стояло. У нас в Сибири времена года, бывает, смещаются, срываются с насиженных мест и вдаль летят, как утки, журавли. Иной раз и летом снег выпадет, не редкость.

В такой холодный день мать моя, Марина, вздумала меня рожать.

Да ведь вдумайтесь, люди: столько уж людей появилось на свет от самого незнамого Сотворения Мира! Нам не счесть никогда. Я как-то раз принимался считать – и сбился со счета. Железные крылатые машины летели надо мной, железные повозки тарахтели по земле. А я, уж давно матерью на свет явленный, возросший, нестриженный, лохматый, с зимними нитями в кудлатых волосьях, сидел, скрестив ножонки, на снегу, и считал, всё считал мимохожих людей. Сколько вас, люди? А не объять ни взором, ни мыслью! А зачем вы всё приходите да приходите на землю? А просто больше некуда приходиться! О если бы мы были небесные черви, небесные птахи! Как бы мы созвездия, по небу рассыпавшись, заполонили!

Скатанный холст под туго прижатым к рёбрам локтем. Высоко подъят тяжёлый живот. Идёт Марина меня рожать. Идёт, тяжело ступает. Ноги раздались, укрупнились, щиколотки толстые отеки, брюхо такое огромное, не свезёт, хоть на телеге кати. Да идёт пеше, идти-то надо. Зачем пошла вон из избы?! А на воле теплой, на просторе милей. Шествует по селу, соседи из окон зырят, с ворот замки сбивают, к серым заплотам выходят, на Маринку поглядеть.

– А куда это она?

– Однако, не знаю!

- К знахарю побрела!
- К чему ей, сама знахарка...
- Глянь, к гольцу направилась!..
- В горушку не взберётся, страдно ей...
- Дура она и есть дура.
- А глядишь, умницу родит!..

Под ноги ложился жёсткий стланик. Мать моя сделала два, три шага – и застыла: с небес, среди лета, повалили снега. Снег валит густо, смеясь над листвою, приказывая зверю и человеку: замри, умри, и никогда не воскресни. Так Марина шла дальше, в горы, еле таща тяжёлое брюхо, подхватив его ладонями, наподобие круглого шаманского бубна, великого земного, звенящего пирога. Ступила на голые камни. Вдали горел синим светом Голец Подлунный. Мать моя, задрав башку, поглядела на грани камней, за извивы пропастей. Вздохнула.

И навалилась боль.

Наехала бензинной железной повозкой. Опрокинула наземь. Маринка вцепилась себе в живот, пошарила вокруг себя незрячими руками, расстелила холстину и легла на неё, подняв к небу колени. Закричала.

Крик выходил из Марины бессловесный, лишь голый вопль, без конца-краю, а снег валит, роженицу, подстилку и тайгу под собой, торжествующим, погребая. Листва чернела на глазах, сворачивалась от внезапного мороза в мёртвых гусениц.

– Пи-и-и-ить!.. Пи-и-и-ить!..

Кто это кричал? Моя мать или кто-то иной? Нет нежности. Нет спасения. И никто никому не поможет.

С жизнью и со смертью каждый справляется сам. В одиночку.

Марине чудилось: на богатых снегом небесах Ангелы выстроились в ряд, смеются, на неё, Марину, орущую тут, на земле, золотыми пальцами показывают. А крылья их ходят ходуном, как рыбы жабры, когда рыбу вытащишь из воды сетью, удилищем, ржавым крюком.

Она раздвинула колени шире. Внутри нее Мирь рвался надвое, натрое, и красные папоротники выворачивали алые корни из огненной стонущей земли. Красный мрак обнимал, выкатывался красным мячом изнутри, его было не удержать. Перламурово, нежно мерцал дымный жаркий живот, капли пота текли по животу, стекали по вискам и щекам, это были изобильные слёзы трудящегося и изнемогающего тела. А душа? Могла ли плакать душа? Или душа родам должна была только радоваться?

Марина шепнула себе: радуйся! Я это слышал. Я взыграл во чреве её, покатился колесом, и темя моё вонзилось в Адову расщелину; я испугался; я туда не хотел. Понимал: этим путем мне не пройти. Позвать на помощь не мог никого! Ни Бога, ни нежный бесконечный снег, ни мать мою! Сжал беззубые слабые челюсти. Идти вперёд, оставалось одно. А вперёд нельзя. Но и назад нельзя. Уже никогда. Ни за что. Не повернуть.

Я оглянулся назад, прощаясь. Красные водоросли. Переплетенья алых лиан. Красные тени елей, сгорающих на небесном костре. Я покидаю небо! Мне надо на землю. Я туда не хочу! Да кончилось время беспечного, вечного плода. Пробыл час конечного человека.

Мы все обречены на прощанье. Не хотим прощаться! И прощаемся – страшно, ликом пылая, в последних слезах!

А встречает нас тут объятиями снег. Снег спереди, снег сзади. Куда ни обернись – везде снег. И летом. И зимой. Выстрелы снега. Плетки,

розги. Снег бьёт тебя наотмашь, а ты думал, он тебя будет миловать, ласкать. Не жди ласки. Не жди любви.

Ты сам её дари.

Я выскользнул, красный, мокрый, дрожащий, ручки скрещены на груди, из блаженного вечного дома утробы, и я стал смертным, и безумен был мой орущий, распяленный рот: я орал так, будто падал с небес, да я и падал, я всегда падал с зенита, вечно падал, в зеркало Мира, во пламя, в надир.

Мать меня поймала сама. Со стоном села на земле, холстина залита кровью; как на красном флаге лежала. Вышивка жизни. А смерть рядом. Мать взяла меня на руки, поднесла меня, скользкого, обмокнутого в первородный жир, к лицу, её руки выпачкались в крови, она, трясаясь, прижала губы к моему животу, так застыла на миг, потом судорожно вздохнула и зверицей, оскалась, перегрызла пуповину. Выдернула неслучайными крючьями пальцев нитку из неподрубленного края холстины и туго замотала кровавого червя.

Убийцы и спасители

Люди хуже зверей бывают. Узнал я это слишком рано. Я ещё говорить не умел.

Марина соорудила для меня колыбель: две доски – ложе, четыре доски по бокам, глядят на четыре стороны света. Насовала в наволку душистого разнотравного сена, укрыла травное шуршанье холщовой простыней. Меня туда, шепча святое-невнятное, положила; укрыла коротким смешным одеяльцем, пошитым из вытертых беличьих шкурок. И тепло мне стало.

Так она ногою качала маятник колыбели, а сама восседала за столом, ела нашу таёжную еду: крупно нарезанного солёного омуля, жареного тайменя, варенье из яблок-дичков, тёмный, почти чёрный бурятский мед. В слюдяном окне плыли призрачно, раздваивались под растерянным зрачком близкие гольцы. Иногда дверь открывалась, будто сама собой, и в избу входили сельчане; кому что надобилось: кто отвара от живота просил, кто сломанную руку, морщась, тянул: вправь кость, перевяжи!.. – кто тетёшкал ребятёнка на руках, плача, воя: охти мне, бездвижно лежит, звёздонька моя, уж не жилица, видать, пособи, Маринка-корзинка, век тебе не забуду.

Мать помогала всем. Как могла. Могла она многое, да не всё. Иной раз люди прямо при ней, в корчах и криках, умирали. Марина сама закрывала им ладонями ледяно распахнутые в ужас глаза. Жгла две толстые свечи близ толстой тяжёлой Книги. Я видел, как ей тяжело было Книгу поднять и раскрыть нужную страницу, чтобы по ней неслышно бормотать и нежно петь.

Умерла однажды в избе баба при родах: разродиться не могла, Марина вознамерилась рассечь ей сугробное брюхо острым тесаком для чистки рыбьей чешуи, и уж разрешила смело дымную плоть, разъяла напряжённые стальные мышцы, ухватила младенца за головёнку, красную тыкву, а баба только вздохнула, как перед поцелуем, да мгновенно, хриплым выдохом, отпустила душу на волю. А тело застыло. Упокоилось. Я глядел из колыбели на мёртвую бабу, и слёзы сами быстрой росой катились у меня по вискам, стекали на сенную подушонку.

Младенец прожил на свете недолго. Ушел в Верхний Мирь вслед за мамашей. Марина уложила его в берестяной короб, обложила пахучими еловыми ветвями. Стояла и глядела на него, и широкий кожаный бубен её лица отражал смерть во весь рост.

Пришли угрюмые молчащие люди, унесли покойницу. Далеко по улице разносились песнопения. Пели над телом родильницы. Заполночь Марина дунула на толстые свечи, они погасли. Так толсты были, как восковые дубы, я думал, вечные они. Книга так и осталась на столе раскрытой, жёлтые ломкие страницы сплошь заляпаны воском, его жёсткими, смоляными пятнами. Под воском не видать главные, Царски-алые буквы.

Вчера к нам в избу дед приходил, отец матери моей Марины. Белобородый, брови метельные, усы вьюжные, одежонка в заплатках. Ноги босы даже в крепкий мороз. Посох железный, и железный на лбу колпак. Жалко мне было деда, когда вдруг из-под колпака по лбу у него начинали течь струи яркой крови. Я вытирал кровь тряпицей, ловил в ладонь, хмурился. А дед смеялся: радоваться надо! Радуйся, кряхтел он, намучишься здесь – на том свете Адовы муки елочными игрушками помстятся!..

Мы с дедом были похожи. Он говорил, как я, я размахивал руками, как он. И я так же, как он, хотел ходить всю жизнь в залатанной шубейке, босиком, в таком вот железном колпаке. Когда я желание мое матери вымолвил, она рассердилась и наругала меня: еще чего придумай! А потом помолчала и выдохнула, как молитву: он юрод, и ты, видать, юрод родился. Бог все управит.

Я захотел увидеть деда в железном колпаке во сне и уже смежил веки, как вдруг тревога постучалась в сердце властным ужасом: тук, тук, тук. Сердчишко перестукнуло и встало. Замерзло.

Под окном прохрустели по сухим веткам шаги. Дверь выламывали, грохот рос и ширился, налетал ночной грозой. Грохот перевалился через порог, сапогами затопал по избе. Марина не успела раздеться, чтобы отойти ко сну. В холщовой, саморучно расшитой красной шерстью понёве стояла она посреди избы, во тьме. Четверо подступили к ней. Не различить было, мужики то или бабы. Луна подошла в небесах ближе к оконцу, и видно стало: три мужика, одна девка, и скалится, точь-в-точь череп лошадиный. Синий свет Луны мазнул по её оголённым в усмешке зубам. Два мужика схватили мою мать за локти, заломили ей руки за спину, а третий тяжело, мощно и страшно ударил её по лицу. Из её рта потекла черная кровь. Луна всё наблюдала, строго освещала. Я запоминал происходящее не памятью – кровью. Кровь обладает зрением, рыданием, памятью, способностью убивать и воскрешать. Кровь сумасшедшая. Это надо знать. Она не алая жидкость, что просто так, веселья ради, течёт внутри тебя. Ты ею передаёшь в будущее всё, без чего ты жить не можешь, и не смогут жить люди там, через века.

Они не смогут жить без тебя.

Значит, ты не умрёшь, как ни стараются убийцы.

Я не мог говорить, и я не сказал убийцам: вы не убьёте меня, – а тут Марину ногой повалили на пол избы, она застыла ничком, раскинув руки, один мужик разорвал ей понёву от горловины до поясницы, другой выхватил из-за голенища нож и медленно провёл им вдоль её хребтины – от холки до вздрагивающих лопаток. Она забила ногами. Мужик наслаждался видом льющейся крови. Остановил бег ножа. Кровь зали-

вала спину матери моей. Она впилась зубами себе в губу. Не стонала. Закряхтел я. Закричал. Я знал, не надо кричать. Но не кричать не смог. Кричал взахлёб, надрывался, бился на сенном матраце моём, катал головушку по колючей цветочной подушке. Скалящаяся девка сердито повернулась на мой вопль. Шагнула к колыбели моей раз, другой.

– А это кто тут у нас такой оручий?!

– Её щенок!

– Обоих – с собой?! Или здесь прикончим?!

– Вон! Тащи во двор! Клади на телегу! Здесь нельзя оставаться!

Люди с утра к ней придут!

Марину даже связывать не пришлось: разрез вдоль спины обездвижил её, она обливалась кровью и ловила, как таймениха, воздух нефтяными, радужными жабрами губ, воздушным пузырьём обескрыленных лёгких. Меня в телегу несли, взявши за шиворот, как котёнка. Лисёнка. Медвежонка. Я хотел кликнуть отца моего Медведя, да слишком далеко лежала медная шкура тайги, пространство не поддавалось упрямому, отчаянному воплю. Сначала в телегу швырнули мать, потом меня. Кони попятились, чуя кровь и близкую смерть. Четверо злых людей взгромозились на телегу, мужик, что резал матери спину, хлестнул коня вожжами, и телега затряслась по земле, по кочкам, по осколкам древних гранитов.

Злодеи привезли нас в заброшенный дом. Затешили свечи и ходили по дому со свечами: туманные призраки, а лица, снизу подсвеченные, ненавистью горели. Перекидывались страшными словами. Пересмеивались. Все время хохотала девка. Один раз даже замурлыкала, запела. В песне я не разобрал ни слова. Мать лежала на полу, я рядом, у печи. Мужик, что резал мать ножом, растапливал печь. Он стар был, белая борода вилась грозowymi пророческими кольцами, пожарищными дымами. Другой, помоложе, подтаскивал дрова. Третий, ещё моложе, мальчик совсем, ковырял охотничьей кривой финкой изгрызенную Временем столешницу. Девка наклонилась над моей матерью. Космы её свесились и струями нефти полились на грудь Марины.

– Ты, дрянь, колдовка, разлепи глаза. Убила мать мою, теперь убьём тебя!

Я впервые в жизни так близко видел месть.

Марина лежала с закрытыми глазами. Раскрылись её губы.

– Да воскреснет Бог и разыдутся враги Его...

– Заткнись!

Девка взмахнула рукой. Сверкнул нож. У них у всех были ножи; девка свой вытатила из-за спины, из-за кожаного пояса. Мужики были заняты печью, а мальчишка, играя финкой, с любопытством глядел, как девка режет ножом щёки Марины, шею, грудь, голый живот. Она делала, измываясь, неглубокие надрезы, но кровь, она текла всё равно. Всё равно.

Все равны перед кровью. И она равна перед всеми.

Я чересчур мал был для того, чтобы изрекать слова; однако дрогнули стены вокруг мучительства и стали сходиться, треснул потолок со старой лепниной, и стала валиться вниз штукатурка, её сухие, хлебные, голодные слои. Я лежал, весь осыпанный известковой мукой, обернул круглую помидорину головы от красного жаркого зева печи к злобной, кошачьей морде девки, что откровенно наслаждалась пыткой, и рот мой беззубый раскрылся, и ясно, внятно я произнёс:

– Смерть несёте, а сами завтра умрёте.

Девка так и застыла с ножом в руке. Мужики бросили топить печь. Юнец прекратил рыть столешницу охотничьим оружием. Все уставились на меня. А мать моя лежала, заливаемая кровью, с закрытыми глазами, но знал я: не умерла она, жива.

– О-ёй, – выдохнула девка, с лезвия капала густая тёмная кровь матери моей, – ух ты! Вещать уж умеет! Чудо!

И только выдохнула непотребная девка это изумленное слово: ЧУДО, – как звездой треснуло оконное стекло, расселось вмиг, вылетели из него торосы и иглы стеклянного льда, и стук раздался властный и грозный ногой снаружи двинули в раму, высадили окно, в дыру, распахнутую в жизнь и свободу, ворвались, прыгнули на пол с подоконника двое: один в красной косоворотке, чернявый, будто из табора сейчас, и серьга в ухе золотым когтем горит, другой в смешной короткой рясе, как с чужого плеча, и оба в сапогах наваксенных, яично блестящих, да голенища жирно заляпаны болотной грязью.

Молоденький батюшка сложил пальцы в кольцо, поднес ко рту и свистнул так, что девка дико завопила, раззявив красный рот, а у меня заложило уши. Я оглох. А мать моя открыла глаза.

Кровь бесконечно лилась из её порезов, мужики-кочегары повскакали с пола и бросились на молодого священника и красного цыгана, к ним подскочил юнец, да сам же первый и лёг бездыханный – красный ловко и крепко ударил его ребром ладони по шее, он на пол свалился мешком. Ногою дрогнул раз, другой и не шевелился более. Потом красный быстрее молнии повернулся к кочегарам и выставил острыми углами локти, и обоими локтями въехал мужикам в скуластые потные лица. Один, падая, заорал, другой рухнул молча. Девка закусил губу и занесла нож, да батюшка перехватил её руку, остановив замах. Так стоял, держа в своей руке девкину руку, как факел, и валился наземь со звоном красный нож, и девка визжала от боли, так хищно, навечно священник ей в запястье вцепился.

Мужики, лежащие на полу, застонали. Один ухитрился встать на четвереньки.

– Я... тебя... гаденыш...

Иерей сделал едва уловимое движение. Девка взвопила.

Иерей отшвырнул её от себя, она упала, тут же села, орала беспрерывно и нянчила руку, как ребёнка. Кисть её висела безвольно.

– Сломал... сломал!..

Красный цыган подошёл к стоящему на четвереньках, наступил ему сапогом на шею и пригнул ему голову к половице. Мужик мёртвой жабой распластался на полу. Цыган надавил сапогом сильнее, мужик обернул лицо вбок и затих.

– Огнестрельного у них нет, отец Амвросий.

– Какое сейчас огнестрельное, чадо. Всё на Войну в железных поездах увезли.

Так я впервые, в ту ночь первой пытки и первого чуда моего, услышал о Зимней Войне.

* * *

Батюшка и цыган в красной рубахе донесли нас до избы. Мать нес на руках иерей, меня – цыган. Я чувствовал щекой нежный, ласковый атлас его алой рубашки, гладкий, как кожа младенца. Как моя кожа. Я был говорящий по-взрослому младенец. Зачем так случилось? Что есть

слово Божие, к чему оно вложено в уста насквозь грешному человеку? Зачем он отмечен наказанием слова, и слово казнит его каждодневно и ранит, и слово исцеляет его от неизлечимой хвори, и слово вытаскивает его из пламени смерти?

Дверь в нашей избе никогда не запиралась. Священник толкнул её ногой. Внёс мать в избу, уложил на лавку. Свечи возжѣг. При неверном, дрожащем зареве свечных сиротьих пламен он промыл матери все её раны тряпицей, намоченной уксусной водой. Мать вздрагивала, но не стонала, не кричала, не плакала, нет. Она вся превратилась в терпение. И смирение. Меня положили на ещё теплую печь, я шевелил голыми ножонками и видел терпеливую мою мать, и понимал краем крылатого разума: терпение, терпеть, терпи, терпельница, смиренница, смирись, человек, и вкуси всё, что тебе из руки, как зверю, протянет судьба. Батюшка промыл матери раны, схватил с крышки сундука белый зимний платок, расшитый алыми крупными розами, быстро порвал его на лоскуты сильными молодыми руками, и лоскутками теми аккуратнo, внимательно перевязал порезы на руках, ногах и груди, а ранения на лице замазал, заклеил кедровой смолкой – отыскал её в миске на столе: мать иногда, штопая дыру в овечьем носке или самолично тачая разношенный сапожок, раздумчиво ту духовитую смолу жевала.

Долго ли пробыли у нас в избе наши спасители? Коротко ли? Во младенчестве я не ощущал Времени, не ощупывал его голой рукою, обжигаясь и плача. Настал час, когда люди чуда покинули нас. Я не запомнил их лиц. Не мог бы про них рассказать. Только и запомнил навеки одѣжку, в коей явились Ангелы мои в разбитое окно: ряса цвета нефтяного озера, выше щиколоток, алая солнечная рубаха, блѣсткий медвежий коготь золотой серьги над ней.

Клеймо с изображением Василия Нагоходца и дивной Ангелицы

Как же он давно их не видал, не слышал! Думал: давно уж они повывелись. Изникли, яко обры.

А вот поди ж ты, свиристелями летали, воробьями весело скакали. Трясли башками: мотались, да все никак не могли на снег свалиться шапки, бубенцы нашиты, гремят-звенят оглушительно, чем выше подпрыгнут, тем сильней зазвенят! Пляшущие икры туго обтягивали алые чулки. И портки все сплошь развышиты красными нитями. Заплаты красные – на тулупах, на зипунах! Вон у одного – красный туз на спине! Бубновый. Да у кого и сапоги красные! Мечутся по снегу, и мнится – ноги-то у них все в кровище!

Кто скалится, во смехе заходится. Кто плачет, да сие ничего не значит. Кто быком ревет, будто хлеб жуёт. Он видит рядом плясуна. Грязен, как война. Зубов сумасшедший оскал. Лучшей доли, чем на стогнах широких престольного града до гибели плясать, не искал!

– Я Петрушка! На ярмарке Петрушка! Я сдобная, с полынью, ватрушка! Нырни в меня, как в полынью – спляшу тебе, на дне, всю жизнь твою!.. Меня, грешника великого, в земличку закопали, смогли, а я сам взял да вылез из-под земли! А нынче я тут, среди вас, бесчестно ору! Гласом оглушаю! Стыну на ветру! Сыплю скороговорки жареными семками на снег! Во всю глотку пою, Бог, слышь, я человек!..

Синий снег горел, громко визжал и вкусно хрустел под железными и кожаными пятками, под сапогами, башмаками, валенками, берцами, а кто и босиком плясал, на холоду живым маятником весело мотался, а кто и в балетных тапочках, обвязав ступни и голени розовыми сусальными лентами, грациозно-стрекозино на снежку, умалишённо переступал.

За скоморохами, меж танцующих сугробов, медленно ступал босыми ногами по снегу нагой юродивый Христа ради. Известен он был на всю Москву, и давненько. Никем не стрижен, чуть ли не от Сотворения Мира. Космы путались на ветру, висли вдоль щёк и плеч перевитыми страшными веревками. В кольца закручивал жестокий, ножевой ветер длиннющую бороду: она струилась по груди, доходила до чресел, змеями ползла ниже, до колен свисала, и опять налетала пурга, и терзала, мотала, беспощадно крутила волосья.

Не озарял он скоморохов наградой-улыбкой. Не протягивал к ним десницу, благословляя.

– Нет у меня пристанища. Крыши нет над головой. Нету тряпок жалких, людских, прикрыть наготу. Нет и праздничного наряда, никто не пошил мне его из золотой парчи, из серебряных, ледовых нитей. Без крова вперёд бреду. Голяком брожу годы напролёт. Ежели мёрзнуть начинаю, зуб на зуб не попадает в ночи – обворачиваю округ себя длинные власы мои, обхватываю себя за плечи, яко медведюшка в тайге, и греюсь так. Зачем так назначено мне? Чем заслужил я такое счастье? Юродя, нагоходец, медвежий сын. Голым ходом по зимней, родимой земле моей все ваши, люди, страшные грехи искупаю.

– Хохот жестокий, пробили сроки, ха, ха, лови петуха!.. – заголосолили потешники в кровавых колпаках, взяли блаженного человека, будто на волка охотясь, в красное кольцо. Приплясывали на снежочке, пятки их мелькали в тумане мороза шляпками белых грибов. – Коли зимка дышит лютой пастью, льдяным Адом, то рдяный Рай песней в ночи – на счастье, и ничего боле не надо!.. Не гибни, живи!.. В похвале-любви!.. – Скоморохи вцепились друг другу в красно-корявые на холоду руки, клешнями пальцев цепляли запястья и подола тулупов, смеялись и повизгивали волчатами, щенятами да так и пошли, побежали оголтелым хороводом вокруг брадатого, лохматого Царя улицы всяя, сперва посолонь, после противусолонь, и длиннющая, как рваная рыболовная сеть, из-подо льда без улова извлечённая, борода моталась туда-сюда, её жадный ветер нещадно крутил. – Всех святых мучеников помнишь?!. Помнишь, как Егорья в кипящем масле топили?.. А помнишь, как Катерину-мученицу раскалёнными железяками ковыряли?.. Вот они, они Христа Господа любили воистину больше жизни!.. А ты, полоумец, ты, колченогий столец, вот ты можешь шаг шагнуть на площадь, где висельца твоя возвышается, петля на ветру мотается?!.. во сруб, где дровишки для твоея казни горой навалены?!. кувырнуться в чан с кипятком пузырящимся... а?!. За Иисуса – в радости! – умереть в муках неизъяснимых?!. Ведь Он помер на Кресте за всех нас!.. За всех! Эх, эх, визг да смех! А помнишь ты, мохнач-медведь, что Господь наш на Кресте, руки раскинув, нас всех, грешных, обнять собираясь, хрипло кричал... тихохонько шептал?..

Василий, пугающе тощий, рёбра сквозь кожу просвечивали страшно, по-рыбьему, нагота солнечно сияла и пугала детей и старух, оглядывался кругом, то закрывал красные, обожжённые морозом веки, то распахивал глаза, и нежданно посреди стальной зимы его юродивые

радужки катились по снегу-метели двумя лазуритовыми кабошонами; боярышни отворачивались, стыдливо рукавом прикрываясь, да подсматривали из-под висячего атласного рукава, дико и хитро, любопытствуя, косились: иные из них голые мужичьи тела видали впервые, иным сие было не в диковинку, уже на зимних гулянках да в шаловливых бешеных колядках, валяясь в обнимку с парнями в пушистом снежочке, девичью надежду растеряли жалкими полушками, медными алтынами, прожигаящими сугроб до земли. Мороз исстегал алой краской нагую плоть Блаженного. Он плыл в белой зимней воде красною рыбой. Сам как те боярышни, голой рукой, острым локтем закрывал лицо. От кого? От чужого взора? От коварного сглаза?

– Вон!.. Вон пошли, вон!..

Он схватил бороду в горсть и махал ею на скоморохов, как на безумных мартовских котов.

Птицы слетались к нагоходцу. Голуби спускались с небес сизыми Ангелами. Воробьи рассыпались под голыми голодными ногами хлебными крошками.

– Что стоишь, молчишь?!. Не вопишь, не хрипишь?!. А ты должен пощады просить! У нас молить жрать да пить! Славишь ты голодуху да ненастье, а мы славим пляс да счастье! Не ставь себя вровень с Господом, больно расшибёшься!.. В придорожном трактире горькой-беленькой напьёшься!.. А Москва не твоя, а наша, варим снеговую кашу и тебя вдосталь накормим, тощей, ледяной ухой да восковой свечой!.. Нет у тебя, Васька, ни когтя, ни ножа, так и умрёшь в подворотне, под телегой дрожа!..

Нагоходец шарахнулся от крика, закрыл уши ладонями. Упал, будто под порывом ветра. Лежал на снегу. Ветер взвивал его длинную бороду. Трепал и вил космы. Закрывал ему волосьями скорбное лицо. А когда ветер отдувал лохмы с лица, всем было видно: он улыбается.

И улыбка эта горела ярче огня.

– Прочь! – крикнул он что есть силы. – Не нужны вы мне!

Скоморохи попятились. Один засвистел перепелом. Другой замаякал диким котом.

– Ну и гори сам в своём огне...

Унеслись. Завертелись красной каруселью. Только пурга клубилась им вослед. Василий тяжело поднялся, стоял в снегу на коленях. Узрел: по площади шёл Чужой. Он никогда не видал его на Москве. Чужой щурился, беспредельно сужались его глаза, от них оставались лишь хитрые жестокие щёлки, и сквозь кожные складки век не проникал свет расстрельных зрачков. Чужой шел медленно, хитроумно и осторожно. Зверем шел.

Человек есть зверь. Я всегда это знаю. Я всегда это знал. Я буду знать это и тогда, когда меня убьют. А разве меня убьют? Где это, когда убьют меня? Такого голого перед Господом, такого верного чистому небу?

Лик Чужого был прикрыт шапкой-лопухом. На лоб сползал меховой потертый язык, шерстяная лопасть прикрывала шею и загривок. Он схватил в кулаки зверьи уши и глубже, туже натянул треух на лоб. Тень волчьего меха легла на щёки, колючий подбородок. От всей фигуры Чужого исходил жар погибели, запах смерти. Да чужой смерти. Неродной. Не той, привычной, когда лежишь ты во намоленном гробе, а над тобой читают кафизмы в выставшей избе. А другой. Слов для неё нет в людском языке.

Блаженный поднялся из сугроба легко, не по-старчески. Бесшумно и вольно. Всё он творил не думая, по наитию, ясно сияли в зиме васильками синие, слёзные глаза. Могуч синий свет! Таково небо; таков снег в солнечный слепящий день; таковы васильки в роскошной, Царской ржи. Где дразнящие его скоморохи, подлунные нахалы? Где площадной насмешливый люд? Всех как корова языком слизала. Никого. С Чужим его Бог оставил наедине. Тело пылало, и снег, едва коснувшись горячей изнутри голой кожи, таял на ней, слезами сползал. Василий наступил босою ногой на рваный квадрат холстины, валявшийся на притоптанном снежке. Сам, как собака, холщовый ковер ему под ступни сунулся. Василий наклонился и подхватил мешковину. Чужой остановился. Далее боле не шёл. Замер. Шёл теперь один Василий. Большие пальцы голых ног его раздулись, посинели. Спина содрогалась поверхностью реки в ветреный день, шла морозной рябью. День догорал. Чужой ждал.

И он сам, идя, ждал.

Как начинается борьба? Чем кончается? В борьбе всегда есть правый и виновный. Однако виноватый свято помышляет, что он-то как раз и прав. Василий стал слишком близко от Чужого, протянул руку, вцепился в его треух и одним резким рывком стащил треух с его башки.

И тут день в одночасье погас; будто разом дунули в церкви на все торжественно горящие, истово дрожащие свечи паникадила. Грудью наваливалась подземная тьма. Издали тёк гул, отодвигался, рос опять. Рожа Чужого корчилась, горела на морозе головнёй. Он разевал рот, клыки торчали, красные вывернутые губы усмехались и молча проклинали. Глазные яблоки вываливались из глубины глазниц, катились по воздуху на Василия, повисали в леденистом тумане, как серебряные орехи на чёрной, мрачной ели, выбранной сельчанами в тайге Звёздной Царицей в тот день, когда Солнце в небесах начинает рождаться заново, воскресать, петь людям лучами песню новой жизни. Чужой ухватил Блаженного за одно запястье, за другое. Толкнул. Василий устоял. Тощее тело, все звенящие смертные кости его налились забытой силой. Чужой был не просто чужой. Он был – Чужая Жизнь. И Чужая Смерть.

Василий прынул вперед, наткнулся голой грудью на грудь Чужого, извернул руки, выставил оба локтя и с силой воткнул их в тело Чужого, дышащее, хрипящее под мощным тулупом.

Чужой пошатнулся. Рука сама протянулась, схватила Чужого за глотку. Пальцы сами стали давить, душить. Василий не хотел. Тело иногда за нас всё делает само. Нашим приказам не подчиняется. наших криков не слышит.

А может, не надо его убивать? Может, Чужой мыслит не как мы? Живет и дышит не как мы? И мы должны не уничтожить его, а понять и простить?

Чужой страшно хрипел. Из его рта шла бледно-красная густая пена. Он бил ногами по снегу и силился вымолвить слово. Василий отшвырнул хрипящего от себя. Поверженный медленно, целую вечность, падал в снег, и, когда упал, Блаженный шагнул к нему и наклонился над ним. Сознание ещё не покинуло беднягу.

– Прости меня.

Блаженный встал на колени.

Вокруг царила ночь. По всей площади горели костры. Во мраке – множество костров. Апельсиновые, золотые, Райские сполохи весело, безумно взмывали к непроглядно-смолянному небу. Меж костров ходили люди. Говорили между собой. До Василия и Чужого не долетали их голо-

са. Блаженному больно было стоять на коленях, снег прожигал коленные чашечки, белым мехом укрывал голени. Пятки торчали, кровили. Давеча ходил он по острым камням, а может, по разбитым печным изразцам.

– Я прощаю тебя. Прости и ты меня.

А разве возможно убитого – простить? Разве можно убийце испросить прощенья за то, что – убил? Как переплетаются, обнимаются прощенья? В них начинает течь одна кровь? И покаяний не различить? Тогда зачем преступление и наказание? Может, никакого преступления и нет на свете, а есть одно лишь прощение, только оно?

Чужой медленно закрывал угасающие глаза. Белки закатывались. Сплошь обвиты красными сосудами, алыми хвощами. Он становился недвижимым телом, бескрылым, прощённым. Крылья отрастали у излетающей вон из тела души, и Блаженный её видел. Душа облетела стоящего на коленях, улетала паром изо рта на морозе, белыми дымными завитками из лошадиных раздутых ноздрей туда, выше, навсегда. Не вернётся.

Василий поймал зрачками последний взгляд Чужого. Медленно перекрестил его. Исподний мех тулупа топорщился грозно, волчино. Треух лежал рядом, на снегу. Тропа, означенная на белизне каплями крови, гляделась дорогой алых цветов.

– Жаркí...

Дохнуло любимой Сибирью среди Града Первопрестольного.

Где я? Сам не знаю. Что за люди бродят по Красной площади вдоль-поперёк, кругами? Возвращаются на круги своя? А костры достигают до смоли полночи; зачем народ их возжёт, не в честь ли нового Царя нашего? А может, Время настало иное, и надо Царство вдругорядь защищать, Царя грудью от врага заслонять? Сможем ли? Благословлены ли?

Спина ныла, как исполосованная бичами. Весь день ходьбы по закоулкам, шумливым улицам, устрашающе молчащим стогнам. Отхлынули с площадей люди. Огни гасли. Музыка, оголтелое пенье, суды-пересуды стихли, растаяли в ночном потусторонне-синем воздухе. Лбы и сердца прокололи швейные ли, пыталные ли иглы недосягаемых звёзд. Василий поднялся с колен, кинул взор на мертвеца. Наклонился, гибче краснотала, и строго сложил ему холодные руки на ещё теплой груди. На исцарапанной собаками коже тулупа обе руки гляделись убитыми в тайге зайцами-беляками.

Зачем я убил его? Какое зло я, убивая его, убил на Земле? А может, виновен я и великий Бог накажет меня, не сегодня, так завтра?

Блаженный тихо пошёл по площади, мимо костров. Пламя то бесилось безудержно, то падало вниз в огненном поклоне, лизало площадные булыжники. Отменно вымостили Царскую площадь, дивно. Днем телеги гремели колёсами по гладким камням, а нынче, ночью, лишь горели в молчанье костры, издавая треск дров и хвороста, опаяля на звёздном морозе людям безумные лица, кричащие руки. Люди говорили телами, вопили глазами, благословляли друг друга дрожащими тихими ртами. Голоса возникали и уходили. Ночь молча рушилась с небес на землю, устилая мощёный выпуклый живот площади, беременный кровопролитием, коврами метели, кристаллами планетной соли.

Осоли меня собою, земля, и я повторю тебя; нет у меня пути другого.

В грозной ночной толпе передвигались, как во сне, бродяги и калеки. Нищие пытались просить милостыньку, сидя во снегу. Юродивый сел рядом с таковским; так же, как он, протянул руку, прося, умоляя,

так же, как он, сложил персты, чтобы жалобно покрестить себе лоб. Всё сделал, как делал нищий, в лохмотья обряженный, точь-в-точь повторил. А не повторяй ничего ни за кем! Ни за кем не гонись! Не глядись во другого, как в разбитое зеркало! Покоя тебе не будет. Изведёшься, себя охаешь, избичуешь. Вины не избудешь. Всю жизнь будешь ходить и обезьянство своё помнить.

Не убий... не укради... Да, не укради. А я-то... я-то всю жизньюшку крал! Да! Крал! У ветра! У Солнца! У серебряного плеса ручья! У брусники, разбрызганной по тайге зверьей ли, человеческой кровью! У Царя на Москве, чей кафтан заморским золотом вышит, чей бурнус мехом искристого соболюшки подбит! У последнего нищего, да, у этого вот, что предо мной во сугробе сидит, крестится жалко, молит упорно, плачет хрипло! Всё я собирал в лукошко памяти и боли своей, а лукошко-то дырявое! Все повытряс, пока сюда – к себе истинному – шёл! И что?! Опять красть?! Опять собирать?! Да я уж давненько, целую судьбу, целый век нескончаемый, не краду, а даю – даю – даю – всё даю и даю – всё дарю и дарю – и что?! Где желанная награда моя? Ах, жадненький, об чем, грешник великий, помышляешь, тебе что, награды нужно?! Пирога звёздного, сладимого, в сахарных осколках предвечного льда?.. Сорванного с зенита громадного мафория алого, сапфирного, золотого Сиянья?..

Люди ходили по мрачной площади, перешагивая через петли позёмки, и не видели его. Мимо шли. Не все. Иной мимохожий застывал, его завидя, торопливо крестился и кланялся низко; а иной морщил обмороженное лицо под волчьей шапчонкой, отворачивался и во снег смачно плевал. Не все его любили. Иные и ненавидели.

Я давно это знаю. Привык к тому. Что же ныне тревожусь? Что жжёт меня, какой укус зимнего шершня?

– Ах, и стыдоба яво не берёт! Мужик-то голяком, глянь, плывёт! Сгинь, сгинь, пропади, нечистая сила!..

Подбегал неистовый. Такие звери водятся в толпе. Заносил чугунный кулак. Блаженный не отворачивался. Его ударяли. Он оседал в снег, опять на колени. Стоял на коленях и снизу вверх глядел на того, кто его бил. Неистовый пятился. В ужасе закрыв лицо ладонями, убегал. Василий поднимался. По мохнатому его лицу вилась нить крови, стекала по бороде, по голой коже, обтягивающей рёбра. Он не утирался. Кровь вымерзала сама, превращалась в хрупкую ледяную красную сладость; такие леденцы продавал сбитенщик, завлекательно выдергивая их из торгового короба, уставленного кружками горячего сбитня: алых петушков, красных рыбок, ледяную ягоду-малину.

Мне больно видеть горе чужое. Чего мрачные люди ждут? Об чём печалуются? Вон кот на снегу валяется. Его пыталыщики-мальчишки жгли огнём, дивясь, как он мучится, корчится. Вон заморская птица попугай лежит, поджавши под жёлтое брюхо лапки, зелёные малахиты-крылышки бессильно распластал. Подойду к ним! Обгорелого кота поглажу! Воспрянет! Заледенелого попугайку дыханьем погрею! Восстанет! Всё мёртвое восстанет, если его полюбить! Воскреснут замученные и праздновать будут, а я буду рыдать горько, полынно, еловыми лапами лик мокрый утирать! Слёзы мои будут на зверьё и птичьё литься, их омыват, то будет их второе рожденье и иное крещенье. Тварь бессловесная! Разве ж её можно крестить! На то сподобился лишь человек! Нет... всякая живность – Божия... Бог тоже плачет над мёртвым воробушком...

На полнощной площади не расхаживали бояре. Сидели они в теремах, напуганно выглядывали, занавеси дрожащей рукой отвернув, наружу; зрели Красную площадь, и Лобное место, и многие костры, горящие тяжело, упорно, преисподними пламенами.

Князья и бояре, не люблю я вас. Я вам ваше боярство – прощаю. Молюсь за вашу знатность. Да не вы в ней виновны. Род ваш – Крест ваш. Каждый свой Крест молча тянет. Каждый пьёт свою чашу до дна.

Он остановился около особенно могучего костра. Огонь разлёгся из средоточия в разные стороны, торчал оранжевыми осьминожками, Адскими щупальцами. И жарко же было тут! Василий глубоко вздохнул. Вдохнул пламя. Огонь беззастенчиво полез ему в лицо, целовал щеки, забирался в ноздри, проникал вглубь помрачённого ночью и огнями блаженного черепа. Он стоял и ничего не думал, ничегошеньки. Башку задрал. Чуть шею не сломал. Там, высоко, в воинственных разъятых ветром небесах, восходила, разрывая светом угрюмые снеговые тучи, вырываясь сиянием из небесной клетки, огромная Красная Луна.

Такую Красную Луну он зрел впервые.

Убить, чтобы жить

Марина взяла в руки винтовку, подержала её в руках, потрясла, будто взвешивала. Потом побаюкала немного, так баюкают ребёнка.

Охота пуще неволи. А пуще охоты что? Воля?

Она охотилась давно, девчонкой, вместе с отцом. Отец её, Иван, слыл на селе медвежатником, так его и звали – злобно, настороженно, уважительно. Убить зверя непросто. Надо сперва у тайги прощенья попросить. Отец Иван, всюду ходивший в странном железном колпаке, так и прозывали его на селе: Иван Железный Колпак, научил её той первозданной мольбе, к природе обращаемой, ко всему живому: лесушко бажонный, речушка бажоная, дай вдохнуть тебя, дай напиться; зверюшко бажонный, дай убить тебя, а потом шкуру твою на тепло детям моим пустить, а мясо твоё дай старикам на пищу изжарить. Птиченька бажоная, дай подстрелить тебе в полёте, ибо нужны мне твои пёрышки для мягкой подушки, а белая грудка твоя для варева недельного, на морозе и дольше в чугуне хранится. Рыбонька бажоная, дай спымати тебя, крюк мой губищу твою крепко зацепит, дай вытащить тебя, ясная, живая, на берег да пронзить острогой; чешую твою золотую дай ножом счистить, тело твоё солнечное дай в котле на весь крещёный Мирь сварить. Ягодка бажоная, дай тебя собрать во тус берестяной! Дай тебя вкусить, в себе поносить! Блаженна ты, ягода, ибо ты есть красная кровушка Господня!

Марина наизусть шептала, повторяя, отцову молитву тайге. Вышептав её всю, до конца, она посмотрела на сына. Василий стоял около стола. Головёнка ниже столешницы, ножки в катанки смешные обуты, сама Марина из бараньей шёрстки скатала.

Марина не говорила сыну, что у них закончились запасы мяса, и долгая ещё зима, и до весны палкой не добросить.

Отец медвежатником слыл, и она медвежатницей сегодня заделается. Во имя сына.

Чтобы выжить. Чтобы – жить.

– На добычу пойдём, сыночек.

– Что такое добыча, мама?

– Это наша с тобой жизнь.

Василий уже научился ходить. Малютка, он бегал по всей избе в короткой рубашонке, Марина криво, на руках подрубала их красной ниткой, купленной у коробейника за грош. Василий любил сидеть у ног матери, когда она ему мастерила игрушку – из сладко блестящих надкрылий толстого изумрудного жука, из чудовищной кедровой шишки, величиной с добрую тыкву. Мать катала его по сельцу в санях, сама же их сколотила из листовенничных дощечек, сама же и раскрасила соком конского щавеля, ежевики и брусники, меловой мукой, красной и голубой глиной с берегов бурливой ближней речки. Василий заходился в смехе и от смеха вываливался из радужных санок, мать подскакивала и вылавливала его из искристого жгучего сугроба, как осетра из-под льда! И он хохотал у неё на руках! А она расцеловывала его в румяные щёки, и в подбородок, и в заолодавший на морозе лоб, и смеялась сама: «Ах ты, ванька-встанька мой!.. Держись крепче!.. А я тебя не покину!.. Так домчимся до Рая!.. До Рая!..»

Василий вечерами, когда мать укладывала его спать, обнимал ее ручонками за потную сильную шею и тихо спрашивал: «Мама, а что такое Рай?» Марина медленно, ласково расцепляла руки сына, нежно толкала его ладонями в грудку под холстом рубашки, он падал спиной на мягкость ночного ложа – мать сварганила ему Царскую постель из деревянного корыта; дно корыта завалила душистым шуршащим сеном, выстелила беличьими и заячьими шкурами, сверху укрыла домотканой рогожкой, наволочку набила нежнейшей, кружевной шерстью ягнят, и так получилась чудесная ладья для еженощного путешествия по снам и виденьям. «Рай, это, сыночек, такая небесная земля». Василий вздыхал прерывисто. «А разве бывает земля на небе?» Мать улыбалась тонко, цветочно. «Бывает. Или не бывает. Раю это всё равно. Если даже и не бывает, Рай всё равно есть». Василий соглашался с этой ночью песней.

Он просил ее: «Расскажи про Рай. Ты бывала там?» Марина опускала голову, и подбородок её касался яремной ямки. «Конечно. Всяк человек там бывает. Только не помнит, что он там был. А я помню. Рай красивый. Там всюду яблоки, ягоды, яхонты. Ярость зверя там превращается в тихую ласку, в умильное урчанье. Перловицы раскрываются сами, приглашая взять у них из их тайны, прямо из брюха великие жемчуга. Снег там идёт тёплый! Даже жаркий! Я там шла босиком по ковру, а ковёр тот был сложен из живых барсов и диких котов, они разлеглись на земле, обнажили пушистые животы, и я, босая, осторожно, легко так по тем диким кошкам ступала, и они блестели, сверкали туманными от ласки и медовыми от любви глазами, и обнажали в улыбках острые зубы, покусывали меня за лодыжки, тёрлись мне об икры лбами и мохнатыми щеками... Красота сама шла мне в руки! Рай, сынок, это такое Солнце с небес, бьёт в грудь, в лоб, и жарко... и томно, и вольно... поднимешь глаза, а Солнце-то белым гвоздём в ночное, угольное небо вбито! Испускает светлые острые, танцует и крестит тебя широкими лучами! А всюду мандарины, лимоны золотые, яблочки прячутся в тёмно-зелёной листве, маслено листья блестят, плоды ветки гнут... любой срывай... ведь это Рай... А навстречу мне самой из Райских кущей выхожу – я сама... я... мать твою...»

Василий слушал бормотание Марины над изголовьем и тихо, незаметно засыпал. Земной сон, это было то, о чём говорить не надо было, а только ждать, звать и предчувствовать.

Во сне мальчишке являлись звери и птицы, они спускались к нему прямо из Рая на невидимых, быстро трепещущих крыльях. Однажды прилетела птица с головою юной девушки. Дева-Птица раскрыла рот и запела Василию колыбельную. Она пела лучше, чем мать, и мальчонка протянул к ней спящие руки и выдохнул: люблю тебя, родненькая, ты моя молния, ещё ударь!.. ещё спой!.. Дева-Птица держала в когтях два сияющих яблока. От них исходил медвяный и мятный дух. Одно яблоко вывалилось из дрожащих когтей, укатилось под лавку. Утром Василий, проснувшись, яблоко нашёл и съел. Сладкий сок тёк по губам, по шее по ключицам.

Однажды мать, гуляя с Василием по сельскому звонкому рынку, остановилась, замерла около охотника, что на вытянутых руках держал шкурки соболей, горностаев и куниц и тряс ими, зазывая, завлекая. Марина во все широкие коровьи глаза глядела на прокуренное, тёмно-медовое, деревянно-твёрдое лицо охотника, на искристые шкурки с белым и охристым исподом мездры, примечала: руки трясутся, и шкурки ходят ходуном, сейчас сорвутся, упадут в синий снег, звери оживут и бросятся врассыпную. Она зажмурилась и крикнула охотнику: «Продай! На шубу сыночку!» Торговец назвал страшную цену. Марина прижала ладонь ко рту. Отшатнулась. Оттащила Василия, лучезарно и жадно глядящего на раскосого зверолова. Придя домой, тихо и жёстко сказала сыну: «Двинемся с тобой на охоту, сами, в тайгу. Санки возьмем, винтовку, нож захватим!»

И Марина вскинула винтовку на плечо, обула катанки с обшитыми кожей пятками, засунула кривой охотничий нож за голенище, Василий обмотал руку ремешком, приделанным к расписным крошечным розвальням, и они побрели по узкой тропе, проложенной редкими людьми в диком снегу, сначала к реке, потом медленно, в сугробах увязая, шли вдоль реки, потом углубились в чащобу, где кедры в синей зимней вышине целовались с кедрами, где сосны плакали на груди у красноствольных сосен.

Как, когда выскочили мохнатые коричневые комья из-за сугробного стога, из белой ямины буерака? Три медвежонка раскатились по снежной таёжной скатерти. Застыла Марина, винтовку опустила. Мальчик поднял руку, заслоняясь, как от Солнца, от огромности зверя: на горе, на грех из берлоги выпросталась на волюшку алмазную необъятная медведица, хранящая внутри себя, в гулкой груди, под лохмами рёбер и обвислого брюха, память о родах, о том, как детки её появлялись на колкий лютый свет. Медведица увидела женщину и мальчика. Откуда силы взяла, чтобы, шатаясь, подняться на задние лапы – и пойти, пойти, высоко подъяв передние, грудью, болотным черёвом, всеми когтями, жарко разинутой бешеной пастью, всей грозой-жизнью лесной на жалких, бесстыдных людишек?

Марина поняла: надо стрелять. Выстрелила. Мимо! Пуля ушла мимо, как и вовсе не бывала. Василий не шевелился. Он обратился в пень. Важно было выждать, прикинуться лапником тяжким, веткой обледенелой. Стать всею природой, зимне обнимающей его и мать. Вот зверь; и он вышел навстречу им; и сейчас он на них нападёт и их пожрёт. А если они – зверя – убьют?

«Не убивай, мама!» – хотел он взвопить, но ужасом воли загнал, затолкал крик внутрь, в пряжу кишок. И он знал: мать сейчас зверицу убьёт. У неё просто нет другого выхода.

Я впервые видел смерть так близко. Марина выстрелила ещё раз, и опять мимо! Она до крови закусил губу, я видел, как кровь медленно и темно ползёт у нее по ледяному подбородку. Не убежать. Слишком вязкий снег.

– Беги!

Мать крикнула громко, так громко, что я на миг оглох. Она меня спасала. Я враз стал взрослым и всевидящим. Смерть даёт тебе второе зрение; она дарит тебе горькую древность земли и владение Временем. Я тогда это не до конца понял, зато сильно и страшно почувал. Но я не стал убегать. Ноги мои стали железными поленьями. Лицо стало перевернутым рыбацким котлом. В него можно было бить молотком, как в бубен или набат. Медведица, вопя, неотвратимой тучей надвигалась на мать. Марина выхватила нож из-за голенища. Выставила его перед собою лезвием вверх.

– Надо было, дура, к древку привязать... копьёцо сладить...

Дальше я не разобрал, что она бормотала.

Два, три шага, и вот медведиха рядом с матерью, и незаметный, быстрый взмах лапой, и вот уже мать кричит, обливаясь кровью – медведица распоролла ей когтями щеку, шею и плечо, легко и хищно стащив с головы шаль, разорвав овечий тулуп и ткань платья под ним. Мать моя, с голой красной, разодранной грудью, заорала медведицы страшней и сама, в крови, двинулась на неё. Зверица выкатила красные глаза и застыла. И тогда мать обеими руками вцепилась в рукоять ножа и, хакнув, резко и глубоко всадила кривое лезвие в шерсть, в плоть, в космы, под рёбра, во тьму.

Во звёздную тьму зверьей жизни, неведомой человеку.

Мать знала, куда целить: она попала медведице в сердце.

Нам не понять сердце человека, а зачем нам помышлять о сердце зверя? Красный, толкающий кровь комок! Он бьётся и бьётся! Я зрел, как зверь умирал. Медведица ещё чуть постояла на залитом кровью, утоптанном её лапами и материнскими катанками снегу, потом пошатнулась и стала, как во сне, оседать в снег, её задние лапы подломились, она рухнула на четвереньки, упала на бок, дрыгала всеми четырьмя лапами, а я бы поклялся – ногами и руками, так жутко, предсмертно она была похожа сейчас на человека.

Я не уследил миг её смерти.

– Счастье, что в сердце... счастье, что сразу...

Мать, заливаясь кровью, села в снег около рухнувшей чёрной, шерстяной горы. Гладила её по мёртвому затылку, по загривку.

– Сынок... давай мне кровушку остановим... перевяжем...

На морозе я сбросил с себя шубёнку, стащил меховую душегрею, потом нательную рубаху, одною ногой наступил на полу, двумя руками вцепился в холстину и потянул на себя. Крепкий холст не поддавался, не рвался. Марина, дрожа руками и окровавленной головой, выдернула у меня из рук рубашонку и зубами и сильными пальцами порвала её на длинные полоски. Я перевязал матери щеку и шею. Она отсиделась, отдышалась, встала, выдернула нож из тела медведицы. Я отвернулся, не смотрел, как Марина свежует зверя. Потом она полезла за пазуху и вытащила из-за пояса маленький острый топор. И не глядел я, как мать топором рубит дымящееся на морозе мясо.

А когда я насмелился и посмотрел Марине в лицо, я увидел, что оно всё залито слезами.

Слёзы мешались с кровью и стекали вниз, и таяли в шерсти тулупа, и скатывались на кровавой снег. Я понял, почему мать плачет.

– Мама! Они тоже умрут?

Я показал рукой на маленьких медведей, отчаянно раскатившихся по снегу чёрными шарами. Марина, прикусив губу, молча помотала головой: нет, нет, нет.

– Нет! Мы возьмём их с собой! В сельцо!

– А как мы их поймаем? Убежали они!

– Далеко не уйдут! Рядом берлога!

Марина накладывала красное тёмное мясо на мои санки и крепко приторачивала куски к сиденью и деревянной спинке пеньковой веревкой. Потом мы ловили медвежат. Приманить их нечем было, не захватили мы в тайгу ни кусочка сотового мёда из погреба, ни жимолостевой ягоды из вареньева банки, ни застывших на морозе круглыми колёсами и жерновами сладких сливок. Мы гонялись за ними просто так, набрасывали на них мешок, я пронзительно кричал: мама, а вдруг они кусаются и мне руку насквозь прокусят! – а мать, слабая от потери крови, падала на снег и ползла по снегу, пятная кровью белизну, и смеялась сквозь нищие слёзы, и вопила, и молилась шёпотом, и крепко, любовно обхватывала руками зверька, залавливая его, к себе прижимая, целуя кровавыми губами в нос, в мохнатые уши, зарываясь солёным лицом в спутанную, унизанную сосульками волглую, пахучую шерсть.

Марина потащила домой медвежат в мешке, а меня оставила сидеть близ санок, сторожить разрубленную на много кусков медведицу. Останки зверицы валялись поодаль, в снегу. Смеркалось. Снега светились в пугающе-синих сумерках княжеским перламутром. Матери не было долго. Целую жизнь. Я прожил жизнь, пока её не было; и заснул на морозе; и замёрз; и умер; и опять родился. Когда я родился, я мать мою увидел. Она, качаясь, шла ко мне в снегу. Шла по снегу. Шла поверх снега. Я не понимал, что она мне снится. Что может понять новорождённый? Я только что видел Ад, там убивали зверя, живого, красивого, мать маленьких детей мохнатых, там лилась на снег кровь моей родимой матери, и я болел её болью, я кричал её криком, и это её, её слезы текли по моим щекам в морозных Адовых приделах. И я так помнил Рай! Мой Рай! Я же родился, чтобы идти и идти в Рай, всё в Рай и в Рай! И боле никуда! Назначено мне так! А кем, и не знаю!

И я, и я Рай мой тоже выучил на память! Всё там знал! Там вода играла жидким яхонтом под глинистым красным обрывом; там полосатые рыбы-выюны, если их выдернуть из воды, могут жить в избе в глиняном горшке, и можно низко опускать лицо над горшком и годами напролёт следить, как туда-сюда ходит-плавает твоя живая мечта; там молоко ли, сливки застывают золотыми и серебряными слитками, и, чтобы они растаяли, надо посадить их в печь в чёрном, как ночь, чугуне; там две толстых, закрученных змеиной спиралью свечи горят под иконой, как два рыбацких далёких костра на полночном берегу; там коровы поутру мощною ребрастою, рогатой рекою переходят вброд голодное Время и входят во врата разнотравных лугов, сияющих красными жарками опушек. Мой Рай был смел и робок, он гладил меня по плечу, он подсовывал мне под ноги широкие лесные лыжи, похожие на разделочные доски – одна у нас в избе хранилась для лепки пельменей,

другая, чтобы мелко и весело острым тесаком резать черемшу; Рай пел мне песни на сон грядущий и поутру – то голосом матери моей, то множеством птичьих дробных голосов, они речными перлами рассыпались вдоль и поперёк по восстающей каждое утро из мёртвых земле, и я непреложно знал: земля родная это и есть Рай, мой хвойный Рай, я вдыхал его, целовал, крепко сжимал, как маленький кедровый орешек, в потном тесном кулаке.

Я жизнь в кулаке сжимал. Она была слишком любима мною. Я не хотел с ней разлучаться ни на миг.

Так я сжимал жизнь в зимнем холодном кулачке, и краснели на морозе маленькие пальцы, и я бредил Раем, не понять было, в нём я или вне его, вспоминаю я о нём или живу в нём, и никто меня из него никогда не изгонит. Потом я сел на снег и стал мечтать о костре. Потом стал тихо засыпать, клонить головёнку на морозе. И, хоть я был тепло одет, снаряжён матерью для дальнего в тайгу похода, мороз пробрал меня до костей, и стал я тихо замерзать, помышляя о том, что мороз – это просто сон, это только сон, и ничего больше, и вот он, Рай, рядом.

Мать явилась из ничего. Из пустоты. Я с трудом разлепил глаза. Мать качалась передо мной маятником старых часов, приколоченных к срубовой стене в нашей бедной избе. Тук-тук, тук-тук, – ходил-бродил хмельной маятник туда-сюда, и я сам превращался в маятник, я сам состоял из железа, из позеленелой меди и позолоченных винтов. Мать подняла меня на руки из сугроба и на удивление легко и быстро пошла по снегу, просто полетела; я понял, она скользила по снегу на лыжах. Ах, надо было сразу нам обоим на медведя на лыжах катить; тогда бы мы от медведицы той стремительно укатили, мгновенно.

Дома Марина раскутала меня, всё моё онемелое, железно-сабельное, обмороженное тельце. Я, взрослый, из-под потолка глядел на себя, малютку. Мать открыла зубами длинную бутылку синеватого мутного стекла, плеснула себе в ладонь зелья, оно пахло дико и страшно, и этим запретным раствором стала мазать мне живот, руки и ноги, втирать в мою обожжённую зимой кожу рукотворный огонь. Через малое время я застонал: тело охватило кольцом огненной боли, я дёргался, ныл, кусал рот, скалил зубы, как волк, как медведь, я становился зверем, а не хотел им быть. Мать растёрла меня до жгучей, печной красноты, я уже орал, не смыкая рта. За окнами, опушёнными горностаем снега, бесилась вялища и вспыхивали и снова слепли плачущие светом звёзды. Свет! Я сам иной раз чувствовал себя светом. Я, свет, мог обращаться в звук, в дрожание хакасского комуза; мог становиться словом, и тогда мать, полосатый кот, цветная сойка за окном, яблочно-алые снегири, все разом, слышали-видели меня. Я горел и гас, и, когда меня заволакивала тьма, я боялся, что вновь не появлюсь в широкий Мирь.

Я лежал, кричал под материными руками и под обжигающей плёнкой сине-мутного самогона, а по полу катались три чёрных живых шара. Медвежата, мохнатые комки. Сгустки шерсти, повизгивания и блеска глаз-чечевиц. Она валились набок, кувыркались, показывали брюхо – это был знак высшего доверия брату-человеку. Я забыл про боль, пялился на медвежат и перестал орать. Мать перевернула меня на живот и крепко, жестоко растирала мне спину. Шершавый рабочий наждак её ладоней расцарапывал мне кожу под лопатками и на пояснице. Медведики уселись возле корыта, где я лежал; мать, растирая меня, стояла перед корытом на коленях. Мать и медвежата восседали рядом. Только мать жмурилась, меня растирая, – самогон выедал ра-

дужку большее резаного репчатого лука, – а медвежьи дети глядели во все чечевичные глазёнки.

Когда я весь запылал костром и перестал чувствовать мою плоть, а превратился в одно большое сломанное, без веса, крыло, мать накрыла меня волчьей дохой, вынутой из сундука, из-под леденистой чугунной крышки, обитой полосками красной жести. Вот тут я наконец согрелся. Разжарился, запылал. Засыпая, оживая, туманно, сквозь дрёму я почувал: тяжёлое на ногах, тяжёлое на животе, а вот ещё тяжёлое давит мне на локоть, а морда под мышку тычется. Это медвежата, все трое запрыгнули ко мне в моё спальное корыто и укладывались на меня и рядом со мной, и прижались ко мне, прилипли, и я спал в Раю, и звери спали со мной.

А когда я проснулся, я света не взвидел. Книга, близ коей всегда стояли две витые толстые свечи, сама собою раскрылась. И с её желтых, заворачивающихся в трубочки, измоченных дождями, высушенных ожоговым полднем, ломких страниц посыпались буквы, буквицы, буквочки. Семена, из них же соткана почва, из них прорастает белый свет, и они в нашей крови текут, иначе мы не говорили бы их, не выдыхали горячим паром изо рта?.. – нет, из сердца!.. – в мороз, не плакали бы и не смеялись ими одними.

И из этих мелких, живорыбных, осиянных, семенных буквочек вдруг стали складываться деревья, птицы, песчаные барханы, морские волны и павлиньи хвосты подлинного Рая. И те живые, кто уютился в Раю, все почему-то глядели в одну сторону.

Туда глядеть нельзя было, да они глядели.

И боялся я посмотреть; и знал я, что там – Ад.

Я выпростался из-под спящих медвежат и стал босыми ногами на ледяную половицу. Я знал: одного угла избы нет. Там пустота. Там Ад и ветер. Непроглядный простор. Свечи горели, испуская длинное, стрельчатое, узкое, змеиным языком, кинжальное пламя. Пламя стало рваться, бесчинствовать, клокотать. Фитили обгорели, плавильсь. Я наконец повернулся.

Ад пылал тысячью жадных огней. Ступить в эти огненные рои – и зажалят тебя до смерти, и воскресения не будет. И Мира не станет, и войны; ничего.

А если туда побежать! Прыгнуть в Адский вой, в угольную, антрацитовую пустыню! Горло обхватит чернобуркой ночи. Станут душить дымы. Марина! Где ты! Мать моя! Медвежатница! Знахарка! Плюсу-нья! Что ты мне предрекала! Кем я стану в жизни без тебя! Почему я один! Ад, ответь мне, зачем ты, зверь, сожрал мою мать, и косточки не оставил!

Впервые отчаяние охватило меня. Со страниц толстой истрепанной Книги про Рай и Ад доносились голоса. Это кричали мученики Ада. Голые их тела корчились и обращались в буквицы. И я сам становился буквицей, и меня можно было читать и петь, а можно было счистить кухонным ножом и гладко затереть ногтем, и никто никогда не узнал бы, что сожжённая буква мерцала когда-то живыми, слёзными глазами.

На одной звучащей странице пылал и стонал Ад. На другой, рядом, лишь перелистни, Рай. Сквозь облака прорастали золотые апельсины. Красные шары мандаринов украшали малахит жестколистных ветвей. Жирафы, нежно изгибая пятнистые шеи, клали головы с фарфоровыми рожками на спины мирно спящим волкам. Волчьи сивые шкуры с грязно-сивым подшёрстком пахли переиждённым вброд болотом, раздавленной

клюквой, свежей кровью. Снежные барсы и рыжие львы глядели смиренно, просяще. Синие громадные бабочки с рисунком на крыльях в виде совиной головы сонно садились на сыро блестящие, узорчатые спины ползущих к воде змей толщиной в бревно. И змеи смиренные, и бабочки смиренные. В Раю всё смирялось со своей участью. С тем, что все или сами умрут, или погибнут.

– Мама!.. От чего я погибну...

Мне некого было спрашивать. Матери в избе не было. Её не было нигде, я видел это. Я видел это не глазами. Внутри меня проснулось иное зрение. Я видел тем, что внутри меня билось глухо и гулко, бухало таёжным колотом в рёбра и под лопатки, и моё сердце валилось мне в ноги мощной, величиною с голову ребенка, кедровой шишкой.

Я был и кедр, и шишка, и колот, и сердце. Я был всем сразу и во всех временах. Мне больше не надо было печалиться о смерти. Я был одновременно и покойником, и вновь рождённым. Ад и Рай это были смерть и жизнь, такая дивная, обречённая на вечное катящееся колесо смерть-жизнь.

И они обе не хотели меня пощадить.

И я у них обеих не просил пощады.

ФРЕСКА ЧЕТВЁРТАЯ. ЛЕКАРЬ ТЬМЫ КРОМЕШНОЙ

А ведь главная, самая сильная боль, может, не в ранах.

Ф. М. Достоевский, «Идиот»

Малое клеймо с изображением жития Василия Нагоходца

Рождение моё, дитя, случилось в тайге, всё село шептало: меня мать моя, Марина, в лесу от медведя пригуляла. Рано я узнал людскую злобу. А дара моего не знал; что знает ребёнок? Он знает всё про Мирь, и ничего – про себя. Мой отец Царь-Медведь, мой отчим широкий ветер, моя мать лекарка забытая, моё детство – цветок-жарок в тайге по весне.

Лечить! Спасать! Исцелять! Молитву возносить за здравие! Я сызмальства привык: мать возится с болящими, мать перевязывает раны. Прислоняет горячий воск ко вспухшему чужому телу. Тело человека! Душа человека! Рано я понял: это одно. Исцеляя тело, мать моя, Марина, исцеляла душу. Обихаживая душу, воскрешала тело. Мать моя читала мне из толстой Книги Жизни каждый вечер; книга та, дитя моё, пахла прогорклым воском и нежным мускусом. Она пахла потёками муро, что варили в котлах батюшки для святого помазания; а потом, забывши труды людские, вознесясь над варевом и котлами, само текло вдоль по ликам незапамятного письма образов. В деревенском храме тихо, молча стоял я, а мать моя держала меня за руку, потом руку выпускала и шептала: «Крести лоб, Бог всё видит». Я накладывал на себя крест, и при этом начинал внутри себя видеть странные дальние карти-

ны. На меня наплывали железные сражения, грозные дымы, площадные огни. Я шёл по земле, истекающей кровью, и по празднику шёл, и по канату над толпой на жестоком лицедействе, и по горящим углям, и меж смиренно лежащих трупов. И так я младенцем шёл-шёл, да и дошёл до Рая.

Спрашиваешь, что такое Рай? Да, я видел его, я гулял в Райском Саду. Да разве можно об том – словами? Нет таких слов ни в моём языке, ни в твоём. Рай – это когда пред тобой открывают старинную тяжелую Книгу Судеб, а ты там всё до слова знаешь и сам себе их давно поёшь. Рай это когда ты босыми робкими ногами ступаешь по изумрудной траве, а она гнётся и шелестит туманным шёлком, отсвечивает зелёным перламутром, распахивается веером цвета змеиной кожи, кладётся нежной полынно-бархатистой тропой, виась и уходя вдаль, за кромку бытия, и ты идёшь по Раю по дороге той, ничего не понимая, не осознавая, никакими вопросами не задаваясь, а просто идёшь, дышишь, радуешься, наслаждаешься, здесь и сейчас, и здесь превращается во всюду, а сейчас – в навсегда. Рай... да... звери в Раю... люди в Раю... не могу передать, сколько же в них любви. На земле я такую не встречал. Нет, вру, дитяtko, встречал! Есть, есть такая любовь... и за плечами моими, и впереди меня... маячит везде, летит надо мной... Дева-Птица... имя её тебе сейчас не скажу... рано ещё...

Я научился летать. Раскину руки – и полечу. Над откосами, над разливами рек. С голубьями вровень, с гусями, журавлями, цаплями. Над плавнями лечу, над синими заводами; над плеском Царских рыб в глубине; над заветным местечком, где река вливается в море, и море громадной волною, нахлынув, навек поглощает её. Река – смерть, море – бессмертие. Так я тогда понимал.

Мать научила меня врачевать. Врачевать, это всё равно что на чужом теле рисовать. Излечивая больных людей, я рисовал на их теле рисунки. Углём, киноварью, даже кровью моею, разрезая себе палец и запястье и малюя красные разводы на коже страдальца. Тело, изнутри увидя рисунок мой, вздрагивало, съёживалось, расправлялось, расслаблялось, распускалось подобно цветку. Исцелялось на глазах. Человек глядел внутрь себя и видел там, глубоко, скрытые силы свои. А я их высвобождал.

Ещё к нам в избу приходил мой дед. Дед, белая борода, приходил из ниоткуда и уходил в никуда. Он носил на голове железный колпак. Железный край больно впивался ему в лоб и в затылок под редкими вьюжными волосами. Иногда из-под тесного железного горшка по лбу деда текла кровь. Он радостно вытирал её ладонью, ладонь обтирал о портки и радостно восклицал: мучься, мучься, тело жалкое, презренное, на Страшном Суде не так-то будешь мучиться! А на небесах то, у праведников, тебе зачтётся.

Я, уцепив деда за руку, ходил с ним на рыбалку. Рыбалили мы знатно. Особенно зимой: пешнёю лунку во льду пробивали, и толклись в круге водяном тучи осетров, живых колючих брёвен! Волшебная прорубь, я шептал, речушенька бажоная, дай нам рыбки, мы ж тебе, реченька, отработаем.

А потом дед как сквозь землю провалился. Я спросил мать Марину: а дед-то где?... умер, что ли? Я знал, что есть смерть. Нет, тяжело, медленно покачала Марина головой, просто исчез; ушёл. Скатертью ему дорога! Если отыщешь деда, когда взрослым станешь, в странствиях твоих по земле, передай ему, как я его любила. Он колпак железный

носит; он юрод. И ты его унаследуешь, ты будешь юрод. Судьбина тяжкая, а чести перед Богом много.

Я рос, и тут со мною приключилась беда. Беда, дитя моё, может приключиться с каждым. Я лечил людей уже не в крохотной саянской деревеньке, а в гулких, сутемных городах, куда сам, по моей воле, из заброшенной моей, родной деревеньки через всю мою юность прибрёл, где бедствовал, с хлеба на воду перебивался, где ежедневная толпа, то снегом наплывающая, то дождем морозящая, просит, требует: дай!.. дай!.. – на стогнах, там биение колокола заглушают дикие вопли: «Ахти мне, ограбили!.. Эй, все сюда, ребёночка я потеряла!.. Помогите, люди добрые, гляньте, всего меня ножами изрезали!..» – и бросаюсь я, чтобы помочь, спасти, а мне – раз!.. – подножку, и под мышки уцепили, и волокут, а куда – не знаю... И орут мне в уши, и гложу я от крика: «Это ты, ты зарезал!.. Ты – убил!.. На дыбу тебя!.. На костёр!.. На плаху!.. Без суда и следствия!.. Народ, свершим правосудие сами, толпою!..» И так желали меня прикончить сразу, тут, на площади, да явились стрельцы-молодцы, прокричали приказы и запреты, и на колченогой телеге, на ребрастой голодной лошадёнке привезли меня в тюрьму, и там кричали над моей голой головою множество возмущённых, хриплых и звонких голосов, и выкрикнули приговор, и кинули меня, дитя, в каталажку... ох, не могу те годы вспомнить, да ведь я их и провёл за решёткой! На пользу ли, на ужас, на счастье – не знаю! И знать я не должен! Бог за меня знает всё!

Томился я в неволе один. Никого родного со мною. Там, в одиночестве, мне все люди на Земле и стали – родные. Как то произошло? И того не знаю. Всех скопом видел; над простором летел; подобно голубю, подобно Сирину, Алконосту. И был я свободен. И радостен был. Тюрьма превратила меня в счастливца. Смеёшься? Не смейся! Горькое горе иной раз делает человека самому себе вольной птицей! Самому себе священником! Я у себя самого принимал исповедь! Бормотал, перечисляя, сбиваясь, сам себе на тюремной одинокой исповеди зимние, ледяные грехи, коих никогда не совершал! Да в будущем, видать, так себе шептал, совершу! А лучше – загодя покаяться! Чтобы никогда больше... Ко мне в застенок врывались пыталыщики. Обнажали меня и бичевали меня. Избичуют, оставят на полу узилища, истекающего кровью. Не плакал я. Не кричал. Слезы исчезали, а иной раз и боль исчезала. словно бы набрасывали на меня рубаху, исчерканную вдоль поперёк алыми полосами; я сам себе был земная карта, изрисованная алыми, багряными реками, и реки те струились по мне, текли, утекали вдаль, к морю крови, а может, неба, а может, любви.

Постепенно мои тюремщики стали меня не только бить, а и привечать; не только кровянить мне спину и лик, но и советоваться со мною: эй, ты, юрод, ну-ка вымолви словцо, скажи-ка нам, вот что нам делать с застреленным на Царской охоте зайцем?.. хотели повару снести, чтобы он зайца того освежевал, в глиняном горшке запёк да к столу Царскому подал, разрезали животину, а у дичи-то внутрих – бирюзовый крестик в золотой оправе, до того красотульный, спасу нет, как светится, ажник ладонь греет!.. так тот зайчишка, быть может, не простой, а заколдованный, али пуще того, Божья прислуга!.. а мы его – на жратву пустим!.. вот ответ, што нам тут предпринять!.. – и я улыбался и тихо ронял: люди-люди, вот вам зверь урок преподал, и у зверя во чреве может таиться на молитву намёк, а вы тот бирюзовый крестик возьмите – да подарите. Кому, они кричат, Царю, Царю, што ли, задарить?! Нет,

говоря, не Царю, а выйдете на Красную площадь, да выхватите там охотничьим оком из толпы распоследнюю нищенку, бродяжку, да к ней и подойдите, да ей – сей бирюзовый крест – на ладони и протяните. И приговаривайте при этом: носи, носи, бедняжка, на здоровье, надень на шею, ладонью щупай, торжествуй, радуйся, молись, бирюзовый небесный крест на груди, как голубя, пригревая!..

На другой день палачи ко мне заявляются да отчёт предо мной держат: всё сделали, как ты велел, узник, выискали на Красной площади оборванку, юродку, не в себе девка, ходит-бродит близ храмов да песню поёт, широким крестом народ осеняет, а сама босая, а у самой мешок из-под гнилого овоща на плечах! Вот мы к ней и подкатились, и ей – бирюзовый крестик – и вручили! И она, представь, не удивилась, не отвергла, взяла! На ладони держит и балакает тихо: вот точно такой у меня и в Сибири был, мне его когда-то давно Богородица поднесла, с небес спустилась да на меня, в колыбельке спящую, его и надела, об том мне мать моя поведала, то и дело крестясь и мелко дрожа, а потом мать умерла, а потом я крест потеряла, а может, украли, а может, коварная Дьяволица стащила, когда я в толпе по рынку шастала. На нас глядит пронзительно. В кулаке бирюзу зажала. Нас вопрошает: отколь он у вас, добрые люди? А мы ей: не добрые мы вовсе, мы Царские каратели, мы на преступников охотимся, а подчас и на зверей в лесу, в зайчином брюхе крест нашли, да вот тебе, несчастенькой, вручить и порешили: всё, мол, замурзанной нищей радость какую принесём!.. А она на нас так пристально глядит да мерно так, будто в медный колокол бьёт, изрекает: это не вы решили, это парень один решил. Вьюныш юродивый. Не держите его боле в тюрьме, выпустите на волю. И вот мы тебя, юрод презренный, на волюшку отпускаем. Выбегай вон из-за решётки да нас, милостивых, помни!

Не могу передать тебе, дитя, каким вкусным, когда вдохнул его до дна лёгких моих, показался мне свободный, сырой и сильный ветер. Дул ветер мне в лицо, мимо меня, сквозь меня. Выдувал насквозь мою боль и мою мудрость. И стал я безумцем. И к счастью мне это было.

Я не гнал от себя безумие моё. Я понимал: оно дано мне, как награда. Любую боль и любое сумасшествие в жизни и в смерти надо заслужить. Боль обращается в светящийся всеми складками твой святой мафорий, радость – в твою святую епитрахиль. Ты ими окутываешься. Их никто не видит. А ты, нагой, идёшь по зимним колючим дорогам, и стопы твои разрезает ножевой лёд, и жёсткая снежная крупка царапает, ранит щёки твои и грудь твою, а ты – счастлив. Дорого стоит твоё счастье! И необъяснимо оно.

Я ходил по дорогам Родины моей, и на людных площадях, в укромных закоулках, на излёте забытых кладбищ, близ детских приютов и разрушенных, ржавых заводов лечил, утешал, любил. Я любил людей, и люди это понимали. Меня не отталкивали, хоть и страшен я видом был – голый, в одной простыне, обкрученной вокруг чресел, идущий шатаясь, как на ходулях, в самую гущу безвременной, скитальным роем клубящейся толпы. Люди сбиваются в кучи и стога, люди трясутся в общей пляске, из их глоток выходит и тает в пространстве общий крик. Чем больше людей на земле, тем плотней они друг к другу жмутся. Я молился за всех, за всю необъятную толпу, и люди, хоть орали громче боя колоколов, почему-то безошибочно слышали в людском море меня, и во всей моей молитве все слова всегда разбирали. И – запоминали. Я видел: слово моё обладает могучею силой; произнесённое, огнём

впечатывается в память услышавшего, ожогом вспухает на руке, на груди, на лбу мимохожего.

И так, идя зимним путем, я становился всеобщим лекарем. Пройдя сквозь тюрьму, я понимал людскую боль. Наученный матерью-знахаркой, я умел уврачевать телесное страдание. А то, что я отверг тёплое одеяние внутри нашей родной зимы, так то правильно сделалось в жизни моей, верно сотворилось – тот, кто лечит, не должен себя лелеять, тот, кто других ласкает и от мороза спасает, не может ублажать себя пушистою шубой, сладчайшей едой! Ты другому сладость протяни. Ты инакому жаркую доху подай. И укутай дрожащего, нищего в богатую Царскую рухлядь. Никогда бедный человек не ощущал такой заботы. И вот я! Тут как тут! Мне тулуп бараний сердобольная вдова подарила – я немедленно его бродяге отдал, он сидел под мостом с нищими, и распивали они на троих бутылочку беленькой. Нищие заворачивались в лохмотья да сидели на снегу в сапогах с чужой ноги, а у бродяги, что бутылку добыл, скрал, небось, с лотка на рынке у Кремлевской зубчатой стены, на плечах ничего не моталось, ни мехов, ни парчи, ни изодранной псами рубахи, ни лоскутного детского одеялишка, попачканного винными звёздами жалких пирушек: гол был бродяга как сокол, как и я же, близнецы-братья мы с ним были, и медленно подошёл я к пирующим нищим, и стащил с плеч бараний курчавый, седой тулуп, и накинул его на голого скитальца, и улыбнулся, и шепнул ему на ухо: Господь тебе то дарит, не я. А я – лишь орудие Господа. Изумлённо воззрился на меня бедолага, крепче запахнулся в дарёный широкий тулуп, а я вообразил, как тулуп тот носил бедный муженёк доброй вдовицы – и мысленно увидал, как мужик тот тулуп надевал, как в нём на площадь, в широкий Божий Мирь, ступал – торговать, буревать, воевать, умирать.

Все мы наследуем друг другу. Каждый донашивает за другим его одежды. Бедные ли, богатые. Ты сегодня богач, а завтра бедняк. Кому суждено торговать, кому воевать, а кому умирать, а кому воскресать. Всё распределено в Мире, дитя, всё нам предписано. И не отвертисься.